
Т.В. Марченко

«Зло в функции блага»:
историко-литературные контексты
в рассказе И.С. Шмелева «Прогулка»

Революционная смена власти и русский исход поставили писателей эмиграции в ситуацию небывалой творческой двойственности: историко-социальные катаклизмы, слом прежних устоявшихся форм и традиций подталкивали к поиску новых путей в литературе; но вместе с тем своего рода «охранной грамоты» потребовало наследие прошлого, которое выделось из эмиграции безобразно разрушенным и отринутым. Иван Шмелев, блеснув новаторскими произведениями о минувших событиях – повестью «Это было» о военном насилии над человеческим сознанием и эпопеей «Солнце мертвых» о терроре в большевистском Крыму, оказался в ситуации творческого зондирования – куда двигаться дальше? О чем и как писать?

Стоит вспомнить характеристику, данную молодому писателю В.Л. Львовым-Рогачевским в начале XX в., при его «втором» (после первой книжечки «На скалах Валаама») дебюте с повестями «Господин Уклейкин» и «Человек из ресторана»:

Автор всей душой на стороне нового, но в нем еще сильна необъяснимая страсть к старому дому, к старому двору. <...> Это двойственное настроение – любовь к поэзии прошлого, оваянного дымкой легенды, и уверенность в разумности и необходимости новых форм – отличает и героев Шмелева [Шмелев 2023, с. 30].

И двадцати лет не прошло, а Шмелев вновь разрывается между старым и новым – только новое теперь предопределено не внешним макрокосмом, а внутренним микрокосмом. Как шелкопряд тянет нить из самого себя, так и писатель-эмигрант в своем распоряжении имеет лишь личный материал – воспоминания и фантазию, вытягивая из них новое

содержание и придавая им новую форму. Уверенность в разумности и необходимости модернизации общественного устройства рухнула непоправимо, и после пережитого Шмелевым «духовного шока» (А.В. Карташев) трагически зазвучал пушкинский образ творческого движения: «Куда ж нам плыть?»

Шмелев ищет. Его поражает «Митина любовь», эта бунинская повесть высвечивает ему путь, и Шмелев смело ступает на него и смело шагает – ему ясно, как развивать тему по-своему, иначе, и он делает это с уверенностью. «История любовная» создается вдохновенно, радостно, как освобождение от крымского мýрока и обретение легкого дыхания творчества¹. Задуманное и даже начатое не всегда реализуется: «Спас Черный» остается в замыслах, «Иностранец» и «Солдаты» оставлены недописанными. Участие в собраниях «Миссия русской эмиграции» в 1924 г. (с докладами «Душа родины» 16 февраля и «Пути мертвые и живые» 5 апреля) со всей очевидностью продемонстрировало: более чем кто-либо в зарубежье Шмелев готов к преодолению разрыва между старым и новым, к синтезу традиций и новаций. У Шмелева нет творческого кризиса или застоя, но при этом у него нет ясного понимания своей «миссии», литературного направления, которым ему надлежит следовать. А.В. Карташев, много позже осмысляя не литературный, а религиозный путь Шмелева, именно так и представляет эволюцию творческой личности писателя в эмиграции – как обретение своего пути в череде исканий:

Но что же именно живописать, чем «залюбоваться» самому и чем «зачаровать» читателя? Мало вечного романтического стержня. Какой его обвить «плотью и кровью»? <...> Но ни чистая философия, ни литературный модернизм, ни, тем более, модернизм религиозный не занимали внимания Ивана Сергеевича. Ив<ан> Сергеевич признал, что все интеллигентское позитивистическое мировоззрение, которое он предпочел в России всему другому за кажущуюся трезвость и здравомыслие, оказалось на деле гимназической фантазией, трясинной, провалом в бездну [Карташев 2023, с. 623, 625].

Однако «поворот к Замоскворечью», как определил это Карташев, к «благообразию», противостоящему «безобразию», к «живому прошлому» совершился не вдруг.

Шмелев увлеченно читает русскую эмигрантскую прессу; его переписка с А.И. Деникиным, которому он отправлял бандероли с прочитанными газетами, свидетельствует о том, как он живо интересуется

современными вопросами, горячо реагирует на них [Шмелев и Деникин 2023]. Эмигрантская периодика 1920-х гг. давала пищу уму, позволяла поверить собственные политические и художественные взгляды и мысли. Философия, богато представленная не только в специальных журналах, но и на страницах «Современных записок», прочитывалась наряду с беллетристическим отделом. Отвлеченная метафизика не привлекает писателя, но ему страстно хочется разобраться в русской, в его глазах поистине эсхатологической, катастрофе, сторонним участником и несчастной жертвой которой стал и он сам. Ему нужен Вергилий, который бы вывел его из ада пережитого в потерянный рай прошлого, вожатый, который покажет дорогу в бурне настоящего. И Шмелеву посчастливилось найти идеолога той ценностной системы, которую он мастерски облек во вдохновенные слова и образы. И.А. Ильин разрешил писателя от ненужных, затрудняющих свободный полет творчества умствований, окрылил его той абсолютной свободой, когда стало возможным и дать выговориться по всем насущным вопросам революции и эмиграции «дуре-няньке», и в каком-то смысле уравнивать ее с мыслителями русского зарубежья. Философы русской эмиграции совершили титанический подвиг, сохранив мысль живой, защитив ее от нивелирующей схоластики советского «марксизма-ленинизма», создав всеобъемлющее учение о русской революции. Шмелев же, освободившись от угнетающей его обязанности понять и объяснить, доверился своему редкостному, даже уникальному дару – говорить голосом простого русского человека, раскрывая жизнь в ее удивительной полноте и многообразии. Вместо отточенных формулировок изощренного ума и пера явился Горкин: «Делов-то пуды – а она-то туды», – и русский мир оказался запечатленным с магически достоверной убедительностью и простотой.

Время и место

Рассказ И.С. Шмелева «Прогулка» был написан в Ландах (вилла «Риан Сежур» («Riant Séjour»), Капбретон) в июле 1927 г. и опубликован в газете «Возрождение» [Шмелев 1927] с посвящением Ивану Александровичу Ильину; позднее вошел в сборник «Свет разума», изданный в Париже в 1928 г. [Шмелев 1928]. Исследователи не обошли рассказ стороной (см., например: [Сорокина 2000; Дунаев 2001; Солнцева 2007; Спиридонова 2014; Шешунова 2021; Каскина, Герасимов 2024]).

Никто, однако, из шмелеведов не обратил внимания на свидетельство современника и в какой-то мере идеологического наставника писателя. И.А. Ильин без труда опознал в персонажах рассказа некоторых

своих близких знакомых и одновременно оценил мастерски сделанный Шмелевым срез эпохи, воспринимаемой обоими как крушение русской культуры и государственности:

Читая «Прогулку», мы немало радовались за «Бердяева» и «Муратова»... А солдатишка, который «не только не глуп», но во всей своей отворотности где-то пупом мудр... и ужасен! Так все это было в действительности, исторически... Но у Вас это еще насыщено жуткою пророческою насыщенностью; как будто ходишь над бездною, приговоренный... [Ильин 2000, т. 2, с. 59].

Небольшой текст «Прогулки» разделен на четыре обозначенные римскими цифрами главки. В первой представлены герои рассказа: «хорошие русские интеллигенты», пережившие террор послереволюционных лет и отказавшиеся от сопротивления злу силою («стали терпеть и ждать»)². Компания разношерстная: два философа, математик, искусствовед, пожилой «писатель из народа» и молодой поэт, пишущий по современной моде, но с кукишем в кармане («Поддел! “Бог”-то ведь с большой буквы!.. Начало стиха, не придерешься!..») [Шмелев 1998, т. 2, с. 90]³). Во второй главке представлены открытые героями «новые радости» – прелесть бытовых мелочей, прелесть русской литературы, культуры, истории. В третьей главке подробно рассказывается об одном из таких «открытий» – об усадьбе Архангельское. Прогулка – это, собственно, вылазка-экскурсия героев рассказа в знаменитую подмосковную усадьбу. Наконец, главка четвертая повествует о постигшем экскурсантов разочаровании: в усадьбу, не разграбленную, уцелевшую во всем своем великолепии, наполненную шедеврами искусства минувших эпох, их не пустили. Во дворце, как рассказал злополучным путешественникам часовой, обитает теперь «теща самого Троцкого». Напрасно упрекнув белокаменную аллегорическую фигуру Славы у ворот («Дотрубилась, голубушка!»), горе-экскурсанты возвращаются на станцию.

Первостепенное значение имеет посвящение рассказа И.А. Ильину. Переписка «двух Иванов» начинается в январе 1927 г. Шмелев отзывается восторженно на пробное письмо Ильина и, хотя признается: «Я не мыслитель, не политик», – готов найти виновных в произошедшем с Россией: «Понятно все, – страх за содеянное понятен, и “круговая порука” в шулерстве. Непонятно лишь буквоедство и софистика гг. философов» [Ильин 2000, т. 1, с. 14–15]. В первых письмах уже прорастает зерно будущей «Прогулки». Ильин не простой поклонник творчества Шмелева, он хочет

завербовать писателя в свои сторонники, водить его пером, стать его – буквально – идейным вдохновителем:

Вы чудно пишете о «философах», как если бы они что-то знали или чего-нибудь стоили... Какие же они философы! В каждой строчке Вашей философия живет и поет, а в их выдумках тлен и песок. <...> Ведь философия – это не резонерство, а рост смысла в страдании; не выверты рассудка, а зовы и звоны таинственного колокола, молитва сокровенного ума; Божия молния в человеческой пещере [Там же, с. 16].

Уже 14 июня Ильин сообщает Шмелеву о начале нового издательского проекта под своей эгидой – журнала «Русский колокол», Шмелев увлекается, воспаляется, готов к сотрудничеству, однако, порассуждав на отвлеченные темы, искренне признается: «Я же **не знаю!** И жутко брать на себя – указывать пути. В художестве же – я вольнее, я без претензий. Беру – что трогает» [Там же, с. 45]. Это строки из того же письма, где сообщается о завершении рассказа «Прогулка».

Шмелев создает в рассказе оптику двойной ретроспекции, обратившись к недавнему (послереволюционные годы) и к давнему (пушкинская эпоха) прошлому. Для нас представляют первостепенный интерес именно отрефлексированные писателем драматические преобразования страны накануне его отъезда за границу.

И.С. Шмелев вернулся из Крыма в Москву в апреле 1922 г. Жизнь в столице кипит: в марте 1922 г. ГПУ инициирует ряд мероприятий по изъятию церковных ценностей; Троцкий обращается в Политбюро ЦК РКП(б) с предложениями о репрессиях против духовенства, план «товарищам» одобрен, и начинаются расправы над священноначалием Православной церкви. В апреле состоялся XI съезд РКП(б), Сталин был избран генеральным секретарем ЦК партии; после первого апоплексического удара в мае 1922 г. Ленин уходит от руководства страной. В апреле 1922 г. прошли Генуэзская и Рапалльская мирные конференции, положение советской России в мире укрепляется. Тогда же, в апреле, в Москву были возвращены из ссылки активные члены Помгола⁴, в том числе писатель М.А. Осоргин. Опыт сотрудничества интеллигенции с советской властью провалился. Многие представители интеллигенции, не связанные с Белым движением, либо уехали за границу, либо пытались выехать. В сентябре – октябре 1922 г. состоялась массовая высылка из страны представителей умственного труда, многие уезжали с семьями. Среди высланных философов были И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, Ф.А. Степун, С.Л. Франк, С.Е. Трубецкой,

С.Н. Булгаков, Н.П. Карсавин, Н.О. Лосский, П.А. Сорокин и др. Получив разрешение для выезда на лечение, в ноябре 1922 г. в Германию уехал с женой И.С. Шмелев.

В ноябре в обращение были выпущены новые банкноты – советские червонцы, обеспеченные золотом. По сравнению с довоенным 1913 г. цены к 1922 г. выросли в 200 тыс. раз. Подписанием мирных договоров с Дальневосточной республикой завершилась Гражданская война; в декабре 1922 г. был образован СССР.

Время действия рассказа «Прогулка» – относительно спокойная для «инакомыслящих» осень 1921 г., ведь следующей осенью участники философских собеседований пережили аресты, допросы и высылку из страны.

Топика рассказа выстраивается писателем очень продуманно. В первую очередь, это дом Поппера, куда по пятницам «любили заглядывать, вздохнуть от постылой жизни» участники компании. Вот как описывается жилище «хорошего русского интеллигента» в начале 1920-х гг.: «Его стеснили, оставив всего две комнаты, но эти комнаты в книгах до потолка, покойные кожаные кресла, тяжелый стол красного дерева, от наследников Огарева, просторные окна особняка, выходящие в старый сад, с видом на главки Успения на Могильцах, манили в прошлое» (с. 89). Огаревский письменный стол заставляет нас обратиться к этому историческому лицу и, по нераздельности Кастора и Поллукса русского освободительного движения, непременно перекинуть мостик к А.И. Герцену.

Огаревы жили в Москве у Никитских ворот, Герцен родился в доме на Тверском бульваре, однако жизнь обоих друзей оказалась связана с арбатскими переулками. С 1824 по 1830 г. Герцен жил в доме 14 в Большом Власьевском переулке. Этому дому Огарев, гостивший в нем подростком, посвятил стихотворение «Старый дом, старый друг! посетил я, / Наконец, в запустеньи тебя» [Огарев 1956, т. 1, с. 86]; дом не сохранился. В 1833 г. отец Герцена купил угловой дом по соседству; в этом доме (Сивцев Вражек, 25 / Малый Власьевский, 9) Герцен был арестован в 1834 г., сюда вернулся после ссылки, отсюда в 1847 г. навсегда уехал из России. Соседний «тучковский» дом был приобретен отцом Герцена позже, там писатель жил в 1843–1846 гг., в мезонине располагался его кабинет (сейчас в этом здании находится Музей А.И. Герцена, его современный адрес – Сивцев Вражек, 25).

Переулки Большой и Малый Власьевские названы по церкви, которая находилась с противоположной от домов помещика И.А. Яковлева, отца Александра Ивановича, стороне квартала. Церковь Священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе расположена намного ближе, чем более отдаленная Успенская церковь в Могильцевском переулке. Но это

очень невысокий, «невеликий» храм, теряющийся за домами и деревьями. В Арбатской части, известной своей малоэтажной застройкой, купол Успенской церкви и навершия двух колоколен были видны издалека. Архитектор Николая Легран, перестраивавший храм в 1790 г., окружил фасад портиками с колоннами. Не исключено, что удвоенная в названии храма кладбищенская тема (успение, могильцы – вероятно, местность была названа по древним холмам-курганам) могла привлечь Шмелева для усиления эффекта «отпевания» старой интеллигенции. Вольно или невольно, Шмелев ведет персонажей своего рассказа от европеизированного, хотя и православного храма⁵ к усадьбе, где европейское и русское искусство слились в подлинно национальном художественном единстве.

Отсылка к А.И. Герцену, революционеру, основателю вольной русской печати, поборнику социализма и весьма неоднозначной фигуре в русской истории (так, в 1863 г. герценовский «Колокол» открыто поддержал польское восстание) и в истории русской мысли, не случайна. В момент создания рассказа Герцен воспринимается Шмелевым как антипод Ильина, а задуманный последним «Русский колокол», призванный будить национальное самосознание и формировать новую русскую интеллигенцию, очевидно противостоит первой русской революционной газете «Колокол» (издавалась Герценом и Огаревым в 1857–1867 гг. в Лондоне). Однако ревизию революционным идеям русских революционеров русское философское общество устроило уже после первой русской революции.

В 1909 г. герценовский вопрос «Кто виноват?» был поставлен в «сборнике статей о русской интеллигенции» «Вехи», в котором религиозные мыслители, правоведы, философы и литературные критики подвергли критическому анализу историю русского интеллектуализма, выявив характерное для России злоупотребление философскими положениями в политических целях. Авторы сборника упрекали своих предшественников в пренебрежении главной задачей философии – установлением истины, заявив, что весь свой потенциал они направили на достижение революционных, хотя изначально и благих целей: «общественного переворота, народного благополучия, людского счастья» [Вехи 1909, с. 8]. Политические фантазии и политические проекты породили разные формы нигилизма, духовного эскапизма и оказались весьма далеки от философии как сферы знания. Внезапно «опомнившаяся» часть интеллигенции поразила вероотступничеством «передовую» часть мыслящего сообщества. Замечательно, что первым титульным автором сборника «Вехи» значился Н.А. Бердяев, для которого свобода всегда представляла высшую философскую ценность, являлась исходным понятием в осмыслении кардинальных

вопросов философии: смысла жизни человека, смысла творчества, смысла истории. Из попыток мыслителя разобраться в разразившихся в России революционных событиях, справедливо показавшихся ему началом надвигающегося цивилизационного кризиса, рождается труд «Философия свободы» (1911). Над этой книгой Бердяев трудился в доме, в котором поселил своего Поппера Шмелев и который сам философ считал домом Герцена.

Последний московский адрес Н.А. Бердяева (с 1915 г. до высылки в 1922 г.) в фантазмагорических обстоятельствах после Октября 1917 г. воспринимается не просто как местожительство, а как некий оплот культурной традиции:

Из тех двух комнат, что снимаем мы на Сивцевом Вражке в большой квартире сестры моей жены, виден через забор дворик дома Бердяевых, а жил некогда тут Герцен – все это недалеко от Арбата, места Москвы дворянско-литературно-художественной, –

вспоминал Б.К. Зайцев [Зайцев 1988, с. 62]. И хотя современные исследования опровергают «утверждение, что последние перед высылкой годы» Бердяев жил в «“бывшем доме Герцена” (детали варьируются)», но соседство тем не менее подтверждается самое ближайшее: «дом, действительно связанный с семьей Герцена, находится во дворе “бердяевского” дома (сейчас он, надстроенный одним этажом, значится по адресу Большой Власьевский, д. 14, корп. 2)» [Кара-Мурза 2014, с. 71].

А.А. Кара-Мурза приводит свидетельство неизвестного мемуариста П*** (ошибочно приписав его Б.К. Зайцеву⁶), которому запомнилось высказывание Бердяева, адресованное собравшимся в его кабинете, видимо, «хорошим русским интеллигентам»: «Окно кабинета Николая Александровича во Власьевском переулке выходило в глубь двора. Там стоял дом. <...> Домик подвергнулся разграблению, кажется, был частично пожар, а затем дом стал разрушаться, стоял без окон и дверей. Это был дом, в котором одно время жил Герцен <...>. Все стояли у окна кабинета. Бердяев сказал, смотря на остатки здания: “Вот плод взглядов Герцена – достойный пример того, к чему вели Россию Герцен и иже с ним”» [Там же, с. 72].

Локальная идентичность дома в арбатской части, откуда в «Прогулке» совершается путешествие в подмосковную усадьбу Архангельское, устанавливается довольно точно и обладает, как мы видим, богатым историко-культурным родством. Оба локуса вбирают в себя исторические эпохи с конца XVIII в. вплоть до первых пореволюционных лет, впитывают литературные образы и абсорбируют философские споры. Во-первых,

Арбат с его переулками был сосредоточением столичных резиденций русской знати, что отражено в романах Л.Н. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». Во-вторых, это герценовские места, связанные с дворянской оппозицией, с началом революционизации России. В-третьих, неподалеку находится Московский университет, здесь стала селиться его профессура, здесь в пред- и пореволюционные годы, до высылки из страны, жил Н.А. Бердяев. Здесь поселил своих героев в романе о судьбах послереволюционной интеллигенции М.А. Осоргин, дав своей книге название по самому известному топониму – «Сивцев Вражек». Роман вышел отдельным изданием в 1928 г., но к лету 1927 г., когда Шмелев работал над рассказом «Прогулка», первая часть «Сивцева Вражка» уже была опубликована в журнале «Современные записки» (1926. Т. 27). Таким образом, Шмелев выбирает уникальный московский топос для своего рассказа, центр московских дворянских гнезд и одновременно интеллектуально-духовный центр (по соседству с Герценом жили Аксаковы, Киреевские, бывал Гоголь); революционные же взгляды части интеллигенции уже подвергнуты суровой ревизии мыслителями задолго до Октября.

В том же, что касается внутреннего убранства дома Поппера, писатель отражает известную реальность послереволюционной эпохи («Его стеснили, оставив всего две комнаты...»). Сам Шмелев, вернувшись в дом 7 на Полянке из Крыма, столкнулся с уплотнением, как и большинство москвичей. Однако Н.А. Бердяев, внук французского графа и русского генерала, так вспоминал о своем послереволюционном жилище:

Я оставался жить в нашей квартире с фамильной мебелью, с портретами на стенах моих предков, генералов в лентах, в звездах, с георгиевскими крестами. Мой кабинет и моя библиотека оставались нетронутыми, что имело для меня огромное значение [Бердяев 1991, с. 232].

Не удивительно, что к нему «любили заглядывать, вздохнуть от постылой жизни». Впрочем, речь уже идет о литературном персонаже: к шмелевскому Попперу «заходили по пятницам». Известно, что в доме у Н.А. Бердяева, который после большевистской революции читал лекции в основанной им «Вольной академии духовной культуры» и в других аудиториях (в Московском университете, в Политехническом музее), собирался «маленький кружок друзей» (Е.К. Герцык). В военные годы это были Вяч. Иванов, С. Булгаков, М. Гершензон, позже к ним примкнул Л. Шестов; после 1917 г. собрание расширилось – к философам присоединились писатели (М. Осоргин, Б. Зайцев), гуманитарии разных специальностей (П. Муратов, А. Угримов). Сам Бердяев вспоминал:

В течение всех пяти лет моей жизни в России советской у нас в доме в Малом Власьевском переулке собирались по вторникам (не помню точно), читались доклады, происходили собеседования. Это, вероятно, было единственное место в Москве, где собирались и свободно разговаривали. Мы очень дорожили этой традицией. <...>

На наших вторниках перебивали очень разнообразные люди, принадлежавшие к самым противоположным направлениям, от социал-демократов, меньшевиков, до людей консервативного образа мыслей, бывали православные, католики, антропософы, старообрядцы, свободо-мыслящие социал-демократы. Доклады читались на очень разнообразные темы, но всегда в духовной углубленности. Ничего похожего на политические заговоры не было, и это не нравилось активистам. Преобладали темы по философии истории и философии культуры. Иногда набивалось в нашу гостиную такое количество людей, что она не вмещала, и приходилось сидеть в соседней комнате. Я более всего дорожил тем, что в период очень большого гнета над мыслью был где-то центр, в котором продолжалась свободная мысль.

В «Правде» однажды было напечатано, что у Бердяева во вторник опять было собрание, на котором обсуждался вопрос, антихрист ли Ленин, и в результате собеседования было решено, что Ленин не антихрист, но предшественник антихриста. Это, конечно, была стилизация и написано в шутовском тоне. Но в стране, где царствовала Чека, это была шутка небезопасная [Бердяев 1991, с. 234–235].

Ссылка на «Правду» удостоверяет, что в Москве 1918–1922 гг. собрания в доме Н.А. Бердяева были хорошо известным явлением, хотя, конечно, не может не изумить информация, что в его доме можно было шутить о Ленине (совершенно в этом духе и на полном серьезе уверял в дьявольском происхождении Троцкого и даже приписывал ему рога П.Н. Краснов в романе «От Двуглавого Орла к красному знамени», 1922). Вот как запомнились эти собрания другим участникам:

Вечер. Знакомыми арбатскими переулочками – к Бердяевым. Квадратная комната с красного дерева мебелью. Зеркало в старинной овальной раме над диваном. Сумерничают две женщины: красивые и приветливые – жена Бердяева и сестра ее. Его нет дома, но привычным шагом иду в его кабинет. Присаживаюсь к большому письменному столу: творческого беспорядка никакого, все убрано в стол, только справа-слева стопки книг. Сколько их: ближе – читаемые, заложенные, дальше –

припасенные вперед. Разнообразие: Каббала, Гуссерль и Коген, Симеон Новый Богослов, труды по физике, а поодаль непременно роман на ночь – что-нибудь изысканное у букиниста: Мельмот Скиталец [Герцык 1973, с. 117].

Евгении Герцык вторит художница Маргарита Сабашникова, при всей бесстрастной объективности признавшая бердяевские «вечера» средоточием «высокой духовности»:

На знаменитые Бердяевские «четверги» с чтениями рефератов и дискуссиями люди продолжали собираться, несмотря на голод, холод и террор. Сидели в шубах, дышали дымом печурки, а к чаю, который уже все не был чаем, подавался знаменитый «торт», который постепенно все уменьшался и превратился теперь в некое изделие из картофельной шелухи. Но, по крайней мере, традиция была соблюдена! [Сабашникова 1993, с. 180–181].

Отметим существеннейшее расхождение в шмелевском описании с историческим фактом: при редкостном совпадении деталей (день недели можно было выбрать любой – сам хозяин собраний не запомнил точно), Шмелев делает компанию философствующих интеллигентов в своем рассказе исключительно мужской – тогда как в действительности и жена со свояченицей Бердяева принимали в вечерах непосредственное участие, и посетительниц, состоявших в близких дружеских отношениях с Бердяевым, хватало.

Всем мемуарист(к)ам запомнилось угощение в бердяевском гостеприимном доме:

По словам свояченицы Бердяева Е.Ю. Рапп, после прихода большевиков к власти в их квартире было очень холодно, приглашенные на собеседования оставались в полушубках и валенках: «Весь ковер был покрыт лужами от таявшего снега. Чтобы немного согреть замерзших присутствующих, я разносила чашки с горячей настойкой из березовой коры, с маленькими пирожками из тертой морковки. Сахар отсутствовал». Бердяев также вспоминал о морковном чае и пирожках, «представлявших собой творчество из ничего», а Ф.А. Степун – о «чае брусничном, пироге, по размерам символическом, по субстанции ржаном» [Вадимов 1993, с. 187–188].

В характеристике еды Шмелев, очевидно, отражает свой опыт недолгой московской жизни до отъезда из страны. Про морковные «торты» и «пирожки» у Бердяевых, приготовленные заботливыми женскими руками, ему ничего неизвестно. Он не знает, как жили в первые пореволюционные годы московские интеллигенты, не осведомлен о пайке (Бердяеву, кстати, был положен привилегированный паек, к тому же выручали лекции, за которые платили натурой, и работа в Книжной лавке писателей, также позволявшая сносно существовать). Писатель годы военного коммунизма изображает через вызывающие содрогание продукты питания – «ослизлая картошка» и «вонючая селедка»; так жила вся страна⁷, и Шмелев подчеркивает этот универсализм неопределенно-личным предложением: «не раздевались по месяцам, таскали ослизлую картошку, коптили вонючие селедки, меняли, хоронили». Мыслитель же изрекает: «Одно время жизнь была полуголодная, но всякая еда казалась более вкусной, чем в годы обилия» [Бердяев 1991, с. 232]. Отметим также, что Бердяев щедро делил угощение на всех гостей; мудрецы Шмелева в добывании еды не так сведущи, как в философии, только прагматику «из народа» удается иногда побаловать компанию суровыми лакомствами начавшегося нэпа.

Философствующие собеседники⁸

Много позже Бердяев вспоминал голодные, холодные и весьма небезопасные времена едва ли не как афинскую школу (обратим внимание на определение взаимоотношений – «хорошие»):

Я вспоминаю о годах жизни в советской России как о времени большой духовной напряженности. Была большая острота в восприятии жизни. В коммунистической атмосфере было что-то жуткое, я бы даже сказал, потустороннее. Катастрофа русской революции переживалась мистически, чего совсем нет в катастрофе французской. С моей стороны была большая активность, хотя и не политического характера. В это необыкновенное время были хорошие отношения между людьми, чего совсем не было в эмиграции [Бердяев 1991, с. 230].

Русская революция была также концом русской интеллигенции. Революции всегда бывают неблагоприятны. Русская революция отнеслась с черной неблагодарностью к русской интеллигенции, которая ее подготовила, она ее преследовала и низвергла в бездну. Она низвергла в бездну всю старую русскую культуру, которая, в сущности, всегда была

против русской исторической власти. Опыт русской революции подтверждал мою давнюю уже мысль о том, что свобода не демократична, а аристократична [Там же, с. 231].

Очевидно, что шмелевские собеседники не являются совершенным плодом художественного вымысла. Их типажи кажутся узнаваемыми, но Шмелев, наделяя каждого персонажа выразительным портретом, речевыми особенностями и фамилией (за исключением писателя и поэта, называемых только по имени или имени-отчеству), так мастерски их перемешивает, что установить реального прототипа того или иного героя не кажется простым делом. Очевидно, Шмелев даже избегает внешней узнаваемости. Вот как лаконично, но весьма зримо обрисовал своих героев Шмелев: «жизнерадостный, полнокровный Поппер», «благородный его противник, человек пожилой и, несмотря на мытарства, все еще очень грузный» Укропов, математик Хмыров Аркадий Николаевич, у которого «матовое лицо и борода в проседи», искусствовед, «знаток кватроченто и чинквеченто, мечтавший уехать за границу» Лишин, молодой поэт Вадя, «утиравший лицо кудрями», увлекавшийся Пушкиным и Маяковским, «поздняя поросль века», «хрупенький старичок, милейший Семен Семеныч, писатель из народа, с подмигивающим глазком, но скромный» (с. 90).

Как будто жизнерадостный Поппер по фамилии не слишком коррелирует с Бердяевым... если бы не одна деталь, эффектно возникающая уже в первой фразе: «говорил, живописно откидывая падавшие на лоб пряди». Хочется по-старинному воскликнуть «ба!», обратившись к воспоминаниям Б.К. Зайцева:

Николай Александрович пишет свои философии, устраивает собрания, чтения, кипятится, спорит, помахивая темными кудрями, картинно закидывает их назад, иногда заразительно и весело хохочет (смех у него был приятный, веселый и простодушный, даже нечто детское появлялось на этом бурном лице) [Зайцев 1988, с. 62].

Композиционно «Прогулка» начинается именно с представления фигуры Поппера, он хозяин дома, он ведущий полилога, захватывающий в свою орбиту прочих действующих лиц – именно он задает тему, он и на самой прогулке будет в роли предводителя, и это главенство Поппера в шмелевском рассказе особенно сближает его с реальным лицом – философом Бердяевым:

Одною из наиболее центральных фигур философской, да и вообще духовной жизни советской Москвы был, до нашей с ним высылки, Николай Александрович Бердяев. Большевистский вихрь не только взволновал его, как всех нас, но и оплодотворил, как немногих. В его голове и сердце неустанно хлопотали тысячи мыслей и страстей. Ни раньше, ни позже не чувствовал я вулканической природы бердяевского духа так сильно, как в последние годы нашей жизни в Москве [Степун 1956, т. 2, с. 269].

В эмиграции Ф.А. Степун выступил оппонентом Бердяева, однако внешне «благородный противник» Поппера Укропов напоминает разве что уже пожилого Степуна, чего Шмелев, разумеется, предугадать не мог. Некоторую подсказку дают фамилии, которые Шмелев присваивает вопреки реальности (как у незабвенной булгаковской пары Панаева со Скабичевским): немецкую фамилию (Поппер) получает персонаж, конъюгированный с Бердяевым, – хотя фамилия может указывать и на его иностранное происхождение (по матери из графской фамилии Шуазель-Гуфье), а носитель немецкой фамилии Stephuhn получает в своем (довольно условном, дополненном чертами других мыслителей) художественном воплощении огородную и совершенно вымышленную фамилию Укропов⁹.

Друзья собираются по пятницам у Поппера, беседуют, и каждая реплика, каждая фраза героев, прежде всего философов, нуждается в дополнительном осмыслении. Авторский нарратив и реплики героев существенно различаются по содержанию и стилю. Шмелев использует неопределенно-личные конструкции и по отношению к власти («задушили», «стеснили»), и очерчивая новую жизнь («месяцами не раздевались», «возмущались... клеймили»). Очевидно, что писатель прибегнул к принципиально иному типу повествования, чем в эпопее «Солнце мертвых» или в повести «История любовная»: режим *Ich-Erzählung* эксплицитно фиксирует эмоции и мысли рассказчика, это субъективное изложение фактов и событий, тогда как в «Прогулке» писатель предпочитает стертый стиль хроники, и этот лишенный авторской оценки ресурс позволяет придать документальность вымышленной истории. Ее первая часть решена как полилог, реплики которого выстроены на контрасте между квазифилософскими тирадами и житейскими суждениями и замечаниями.

Первый тип – это речи Поппера, которые «умиротворяюще действовали на заходивших к нему» (с. 89). Читатель вовлечен в философский диспут; первая реплика Поппера является возражением на прозвучавшее за рамками рассказа мнение:

– Да, как будто бессмысленно. Но мы в ограниченных рамках, друзья мои! В рамках... я бы сказал, зде-чувствия, и Смысла мы осознать не можем. Жизнь, как некая онтологическая Сущность, начертывает свои проекции в невятном для нас аспекте. Но можно как бы... по д-чувствовать, уловить в какофонии Хаоса... таинственный шепот Бытия! Этот вѣдомый всем Абсурд, этот срыв всех первичных смыслов... не отблеск ли это Вечности, таящий Великий смысл? (с. 89).

В целом сей дискурс не кажется лишенным смысла, и единственное, что заставляет подумать, «уж не пародия ли он», это место и время: автор будто высмеивает неуместность высокой философии в революционном практическом моменте, бессилие интеллигенции, ничтожность идей в отсутствие хлеба насущного. В речах (точнее, воспроизводимых Шмелевым обрывках речей) ошарашивает концентрированность терминов, кажущихся переведенными с немецкого языка, – от почти существующих до мастерски изобретенных (усугубленные авторской разрядкой «зде-чувствие», «по д-чувствовать»). Шмелев без труда создает квазитермины, тонко пародируя русский перевод немецкой философской терминологии: «зде-чувствие» (с устаревшей формой наречия *здесь*) от несуществующего «Dafühlen» (ср. Dasein – «здесь-бытие», термин, используемый немецкими философами от Шеллинга до Ницше), несообразное «под-чувствовать» от «unterfühlen». Шмелев – гениальный проводник «чужого слова»: в попперовских высказываниях писатель как будто вспоминает студенческие конспекты (философию изучали на юридическом факультете – античных авторов и, разумеется, немецких) и использует статьи и дискуссии философов русского зарубежья, разворачивавшиеся на страницах эмигрантской печати. Шмелев отлично осведомлен, что немецкие существительные пишутся с прописной буквы, а русские философы (в том числе и И.А. Ильин) переносят этот принцип на русскую философскую терминологию (например, «религиозный Предмет»). Замечательно, что Шмелев приводит устную беседу, но графически передает именно эту особенность русского философского дискурса – при превращении слова в термин писать его с заглавной буквы (Смысл, Жизнь, Сущность, Бытие, Абсурд).

Поппер – образ собирательный, вобравший в себя черты русского интеллигента и современного философа-феноменолога, но одновременно он с несомненностью несет в себе черты конкретного исторического лица – Н.А. Бердяева. Бердяев публиковался в «Современных записках», в частности, на страницах журнала развернулась дискуссия между ним и Ф.А. Степуном по поводу «Нового Средневековья» (1924) [Бердяев 1925;

Степун 1925]. Степун упрекнул оппонента в «грехе аполитизма», который «мешает ему уточнить свой идеал новой духовной жизни, но мешает также и всякой действенной борьбе за него» [Степун 1925, с. 310]. В этой статье Степун, призывая эмиграцию к единству, определил и место Шмелева в борьбе правых и левых за «духовные ценности», назвав его (тогда поставив его имя рядом с Буниным) одним из «“правых” беллетристов» [Там же, с. 305–306].

Но эта критика была критикой из общего с Бердяевым лагеря; не случайно Степун возвращается мысленно в недавнее прошлое:

Вспоминая свою жизнь вместе с Бердяевым в советской Москве до 1923 г., не могу не согласиться с ним, что там все мы действительно были до конца свободны от всякого политиканства <...>. Принадлежность к коммунистической партии механически лишала человека всякой возможности общения с членами междупартийного интеллигентского «ордена» духовной свободы... [Там же, с. 312].

«Для основной части русской эмиграции, однако, – утверждают современные исследователи, – Бердяев так и остался чужим, прежде всего из-за его целенаправленной деятельности по возрождению духовной жизни в Советском Союзе» [Современные записки 2012, с. 444]. Читая споры единомышленников, Шмелев и пришел к выводу, которым поспешил поделиться в первом же письме к И.А. Ильину:

Понятен мне весь фальшивый вой-воплъ, поднятый слева, и вся эта эквилибристика, с опорой на Закон Христов! – вплоть до Бердяева! <...> Не могут понять, что и «всему применение бывает»! И если, для меня, самая математическая истина, примененная к живому, к вечно формирующемуся духу, губит его, я обязан эту формальную истину отвергнуть. Ибо – не в лаборатории я и не у доски, а *при живом*. И – живу, и сам, мучаясь и принося жертвы, ищу истину. Великая свобода дана нам, великая *carte blanche* – глубина безмерная: «Суббота – для человека!» И всякий меч, да, Крестом осиянный, направленный против Зла – сам – Крест! Правда – в людях, не книжная [Ильин 2000, т. 1, с. 14–15].

О каком «вое-вопле» «левых» говорит «правый» писатель? Незадолго до начала эпистолярного общения двух Иванов и создания рассказа «Прогулка» произошло известное размежевание в русской философской среде: «После разгрома Бердяевым книги Ильина “О сопротивлении злу

силою” (Берлин: Град Китеж, 1925)¹⁰ отношения между двумя философами испортились навсегда. Ильин опубликовал в газете “Возрождение” от 29 октября 1926 г. (№ 514) острую реплику под заглавием “Кошмар Н.А. Бердяева”» [Современные записки 2012, с. 441]. Задетый за живое Ильин утверждает, что всегда считал творчество оппонента «философически неосновательным и религиозно соблазнительным» [Ильин 1926, с. 2].

Ильин отвечает по пунктам и едва сдерживается, чтобы не впасть в тот же «аффект», что и Бердяев. Но несогласие двух философов заключается, по сути, в одном: «Я посвящаю мое исследование русской белой армии и ее вождям», – заявляет Ильин, цитируя далее противника: «А г. Бердяев объявляет, что я отдал свои силы “для духовных и моральных наставлений организациям контрразведки, охранным отделениям, департаменту полиции, главному тюремному управлению, военно-полевому судам”» [Там же, с. 3]. Ильин апеллирует к читателю, и таким читателем оказывается Иван Сергеевич Шмелев – до революции безусловно и всецело принадлежавший тому «демократическому» лагерю, от имени которого клеймит Ильина Бердяев, а после гибели сына, расстрелянного потому, что он был мобилизованным офицером Добровольческой армии, с неизбежностью перешедший на позиции, которые отстаивает Ильин, и со всем энтузиазмом своей пылкой натуры устремившийся к православию.

Но Ильин не кукловод и Шмелев не податливая марионетка. Его подход к персонажам «Прогулки» мягче, в нем нет личных выпадов, и если он не чужд иных сатирических приемов – ирония, насмешка, пародия, – он не карикатурист и не памфлетист. Шмелевских героев-собеседников не просто объединяет общая культура, они ей по-настоящему преданы. Однако слишком уж чужды они советской современности. Ироничная авторская речь и авторские характеристики наполнены насмешливыми намеками и аллюзиями. Стоит вспомнить приведенный выше отклик И.А. Ильина, также пережившего описываемые времена в Москве: «как будто ходишь над бездною, приговоренный». Собеседники буквально сидят на курганах похороненных идеалов, надежд, проектов («на могильцах»), да и насмешка Шмелева – горькая насмешка над собой («над кем смеетесь...»), юмор висельника.

При нэпе жить стало легче и «обострялась потребность духа: осмыслить и подвести итоги» (с. 90). Во время беседы каждый из шмелевских героев высказывается в своей особенной манере, и общая картина эпохи, дополненная ремарками автора, складывается из очень по-разному преподнесенных подробностей. Несмотря на согласие героев между собой, речевые их характеристики подчеркивают яркую индивидуальность

каждого из них (ср. рационализм и правду-матку математика Хмырова vs цветистая образность речей Поппера):

– Миллионы трупов, людоедство, донельзя оскотинели... – говорил Хмыров в бороду.

– Четыре года – момент. Момент – не мерка! – чеканил Поппер. – Берите перспективы, углубите. Чекисты... – понижал Поппер голос, – гекатомбы¹¹. Верно. Но это воплощение смерти в жизни, это призрачность самой жизни, когда грани реального как бы стертые... этот пьяный разгул меча... не обращает ли это... к вечности?!...

– Естественно, обращает.

– Не каламбурьте. Разве мы не шагнули за грани всего обычного, разве не выветрили из душ многую пыль и гниль перед всечасной проблемой смерти? Разве не засияли в нас лучезарными блесками благороднейшие алмазы духа? Разве не раскрылась в страданиях бесконечность духовных глыбей?... (с. 90).

Если Поппер (как литературное обобщение, а не как «верный слепок») отсылает к Бердяеву, то с кого же «списан» его друг и оппонент, «ироничный» Укропов? Во внешности своих философствующих героев Шмелев использует черты, типичные для представителей интеллигентского сословия – университетских профессоров, литераторов. И если в Укропове и угадывается аллюзия на Степуна, то во внешности и манерах математика Хмырова проступают портретные черты профессора каких угодно наук («матовое лицо и черная борода в проседи» – кто из мыслителей был румян или не носил бороду или хотя бы бородку?). Укропов старше Поппера, «пожилой» и уже прошедший долгий путь философского поиска. Автор не без сарказма замечает, что «под влиянием пережитого» тот «пересмотрел свою философию и отверг». О творческой деятельности Укропова известно следующее: он работает над «капитальным трудом» под названием «Категории Бесконечного: Добро и Зло» и прекрасно разбирается в метафизических проблемах морали. Само название трактата говорит о влиянии на него ницшеанской философии¹². Укроповская ирония появляется в ответ на монологи Поппера. В них вечные категории добра и зла гротескно соединяются с рассуждениями большевиков о революционном преобразовании мира:

– Зло... – говорил из угла Укропов, жуя сухарик, – в вашей концепции принимает функции блага. Разберемся. В аспекте безвременности.

Зло как философская категория не есть то зло, которое по чудесному и потрясающе точному слову Блаженного Августина... (с. 91).

Упоминание средневекового богослова обнаруживает не столько знакомство Шмелева с конкретными философскими работами, сколько изумительную чуткость к духу времени, в том числе к движению мысли. Труды Блаженного Августина были необычайно популярны на рубеже веков, им отдали дань Г.П. Федотов¹³ («Письма» Блаженного Августина», 1911) и Л.И. Шестов («Сократ и бл. Августин», 1918)¹⁴; «Исповедь» Блаженного Августина неоднократно и в разных работах уже эмигрантского периода цитируется Н.А. Бердяевым. Но еще в 1893 г. Е.Н. Трубецкой защитил на юридическом факультете Московского университета – студентом этого факультета вскоре стал Иван Шмелев – магистерскую диссертацию «Мирозозерцание Блаженного Августина»¹⁵. Однако мы имеем дело с литературой, а не с философским конспектом, и художественные аллюзии в процитированном пассаже гораздо интереснее. Вещание Укропова – «из угла» – отчетливо проецируется на вышедшую в 1921 г. «Переписку из двух углов» В.И. Иванова и М.О. Гершензона [Иванов, Гершензон 1921], «один из важнейших документов культуры начала XX века» [Синеокая 2016, с. 61].

Манифест хорошей интеллигенции

М.О. Гершензон, историк общественной мысли пушкинской эпохи, и поэт В.И. Иванов, одна из ключевых фигур в поэзии Серебряного века, делившие летом 1920 г. одну комнату в санатории для работников культуры и науки в Москве, ведут эпистолярный диалог (всего опубликовано 12 писем) «в таких условиях, когда само сохранение мыслительной свободы и верности своим исканиям, в ситуации исторических и личных катастроф, было духовным подвигом» [Синеокая 2016, с. 63]. Мимо этой переписки трудно было пройти, такую оживленную критику она вызвала в печати. Вяч. Иванов отстаивает вечные ценности культуры, он оптимистичен, он верит в смысл жизни, в необходимость творчества. Гершензон, напротив, испытал жесточайшее потрясение от того, что революция, над свершением которой более столетия работали поколения отечественных интеллигентов, завершилась победой глубоко враждебных интеллигенции сил. Иванов защищает культурную преемственность, Гершензон призывает к переоценке культурных ценностей. Отзвук этой самой знаменитой

интеллектуальной книги описываемой эпохи очевиден в обрывочных репликах Поппера и Укропова.

Приведем несколько цитат из этого «документа поворотного момента русской культурной истории», «великого и новаторского произведения художественной литературы», «неповторимого диалога о месте творческого слова в жизни современности» ([Иванов, Гершензон 2006]; как и в оригинале, собеседники-корреспонденты обозначены инициалами).

В.И.

Моя личность бессмертна не потому, что она уже есть, но потому, что призвана к возникновению. И как всякое возникновение, как мое рождение в этот мир, – оно представляется мне прямым чудом. Ясно вижу, что не найти мне в моей мнимой личности и ее многообразных выражениях ни одного атома подобного хотя бы только зародышу самостоятельного истинного (т. е. вечного) бытия [Там же. С. 10].

Есть внутреннему опыту словесное знаменование, и он ищет его, и без него тоскует, ибо от избытка сердца глаголят уста. Ничем лучшим не могут одарять друг друга люди, чем уверяющим исповеданием своих хотя бы только предчувствий или начатков высшего, духовнейшего сознания [Там же. С. 15].

Право, говорите вы поработченно-мому собственными богатствами человеку: «стань (werde)», но, кажется, забываете Гетево условие: «сначала умри – (stirb und werde)». Смерть же, т. е. пере-рождение личности, и есть его вожде-ленное освобождение [Там же. С. 20].

М.О.

Я не люблю возноситься мыслью на высоты метафизики, хотя люблюсь вашим плавным парением над ними. Эти запредельные умозрения, неизменно слагающиеся в системы по законам логической связи, это заоблачное зодчество, которому так усердно предаются столь многие в нашем кругу, – признаюсь, оно кажется мне праздным и безнадежным делом. Больше того, меня тяготит вся эта отвлеченность... [Там же. С. 13].

Я не сужу культуры, я только свидетельствую: мне душно в ней. Мне мерещится, как Руссо, какое-то блаженное состояние – полной свободы и ненагруженности духа, райской беспечности. Я знаю слишком много, и этот груз меня тяготит. <...> Несметные знания, как миллионы неразрываемых нитей, опутали меня кругом, все безликие, все непреложные, неизбежные до ужаса. И на что они мне? [Там же. С. 22].

Человек возвращается к ощущению реального бытия, как выздоравливающий после тяжкого недуга, с болезненным и тревожным чувством, не сон ли все предстоящее [Там же. С. 25].

Без веры в Бога человечество не обретет утерянной свежести [Там же. С. 31].

Но сама культура, в ее истинном смысле, для меня вовсе не плоскость, не равнина развалин или поле, усеянное костями. Есть в ней и нечто воистину священное: она есть память не только о земном и внешнем лике отцов, но и о достигнутых ими посвящениях. Живая, вечная память, не умирающая в тех, кто приобщаются этим посвящениям! [Там же. С. 42].

Мы же, русские, всегда были, в значительной нашей части, бегунами. Нас подмывает бежать, бежать без оглядки. Мне свойственно непреодолимое отвращение к решению какого бы то ни было затруднения – бегством. <...>

Вы же, конечно, плоть от плоти и кость от кости интеллигенции нашей, как бы ни бунтовали против нее. Я сам – едва ли; скорее, я на половину – сын земли Русской, с нее, однако, согнанный, на половину – чужеземец... [Там же. С. 76–77].

Откровенно любуясь перлами своих изысканно оправленных в слова рассуждений («башенного любомудрия» [Бёрд 2006, с. 177]), мыслители отдают себе отчет в неуместности резонерства о культуре в после-революционной Москве, где сами они едва выживают в голоде и холоде: «Не довольно ли, дорогой друг мой, компрометировали мы себя, каждый

Чего я хочу? Хочу свободы сознания и исканий, хочу первоначальной свежести духа, чтобы идти где вздумается, неистоптанными дорогами, неисхоженными тропами, во-первых потому, что это было бы весело, и во-вторых потому, что – кто знает? – может быть, на новых путях мы больше найдем. <...> Хочется в луга и леса [Там же. С. 38].

Пройдут столетия – вера снова делается простою и личною, труд – веселым личным творчеством, собственность – интимным общением с вещью <...> [Там же. С. 54].

Но как бороться против тех ядов культуры, которые вошли в кровь и отравили самые истоки духовной жизни? [Там же].

Я живу, подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране; любим туземцами и сам их люблю, ревностно тружусь для их блага, болею их болью и радуюсь их радостью, но и знаю себя чужим, тайно грущу о полях моей родины, о ее иной весне, о запахе ее цветов и говоре ее женщин. Где моя родина? Я не увижу ее, умру на чужбине. Минутами я так страстно тоскую о ней! [Там же. С. 83].

по-своему: я – своим мистицизмом, Вы – анархическим утопизмом и культурным нигилизмом <...>» (Вяч. Иванов), – и жаждут припасть к истокам: «Я отдал бы все знания и мысли, вычитанные мною из книг, и в придачу еще те, что я сам сумел надстроить на них, за радость самому лично познать из опыта хоть одно первоначальное, простейшее знание, свежее, как летнее утро» (Гершензон). «Переписка из двух углов» была «затейна как раз в дни, когда совершалась драма вокруг так и не осуществившегося выезда Иванова из Советской России», и потому в ней так явственно звучит «тема родины и изгнания» [Там же, с. 182]. «В начале 1920 г. Иванов и Гершензон состояли на государственной службе в Наркомпросе», вели «активную общественную деятельность, о чем неоднократно появлялись заметки в официальной печати», и одновременно «искали возможность выехать из России» [Там же]. Если в первых письмах Иванов «считает себя представителем побежденной культуры, изгоняемой с родины против ее воли», то в последнем письме, «после крушения мечты о зарубежной поездке, Иванов усиливает свой призыв к углубленному следованию традиции» [Там же, с. 188]. Пережив страшный 1921 г. (расстрел Гумилева, смерть Блока), «проводив» пассажиров «философского парохода» и других представителей интеллигенции, покинувших родину, В.И. Иванов в 1924 г. все же выехал «в командировку» в Италию, откуда на родину уже не вернулся; тяжело больной Гершензон скончался в Москве в 1925 г.

Едва ли не случайно возникшая «Переписка» оказалась «хрестоматийным выражением или манифестом не только взглядов ее авторов, но и целых пластов пореволюционной интеллигенции», «воспринималась как литературный образец для любого полемического диалога» [Иванов, Гершензон 2006, с. 92]¹⁶. Как мы видим, разного рода текстами-событиями были наполнены как предреволюционные, так и еще более насыщенные в философском плане послереволюционные годы. Вернувшийся из Крыма в Москву Шмелев, обивавший в апреле – ноябре 1922 г. пороги всевозможных организаций в трагически напрасных поисках сына, встречался с представителями интеллигенции – и служившими новой власти, и державшимися в стороне, внимал разговорам, знакомился с новинками книжного рынка. Впрочем, у И.С. Шмелева были и более близкие источники для его рассказа.

Писатель имел возможность присутствовать и при устных беседах мыслителей – своих современников, слушать их воспоминания. В Капбретон, облюбованный Шмелевым в 1924 г. и почти на десятилетие ставший для него резиденцией в теплое время года, с мая по октябрь, неожиданно

хлынули русские эмигранты: океан, песчаные дюны, сосны, рыбалка, грибы и ягоды, дешевизна. Редактор «Современных записок» М.В. Вишняк так вспоминал лето 1925 г.: «Одновременно с нами в Капбретон приехали отдохнуть священник Булгаков с семьей, Бердяевы, Вышеславцевы. Они устраивали по воскресеньям совместные богословско-философские обсуждения. Шмелев принимал в этом скорее пассивное участие» [Вишняк 1957, с. 184]. Шмелев был слушателем, хотя нигде и никогда не упоминал своих впечатлений от духоподъемных бесед того лета. Рассказывая о переезде на лето в Ланды Ильину, с которым только что познакомился, писатель упоминает А.И. Деникина с семьей («мы стали друзьями») и К.Д. Балмонта, который тоже «осел» на атлантическом побережье, и кратко бросает: «В позапрошлом году жил Бердяев и Булгаковы» [Ильин 2000, т. 1, с. 29]. Письмо датировано 11 мая 1927 г.; через два месяца рассказ «Прогулка» будет отправлен в редакцию «Возрождения». Шмелев записных книжек не вел, за философами их изречений не записывал; можно лишь очень осторожно предположить, что какие-то манеры, жесты, выражения могли остаться в его цепкой памяти и два года спустя «выплыть» в рассказе. Единственное, чем действительно ценно это признание о жизни бок о бок с Н.А. Бердяевым, это подтверждением возможности для Шмелева из первых уст узнать о жизни московской интеллигенции в те «четыре года» после революции, о которых идет речь в рассказе.

Есть и еще один стилистический пласт во фрагментированном монологе Поппера: образно-поэтический. «Таинственный шепот Бытия», «алмазы духа», «темно-зеленый бархат» без натяжек напоминают то Тютчева, то Чехова, свидетельствуя лишь об одном: Шмелев черпает из разных источников, смешивает лирику с метафизикой, печатное слово с устным, стилизуя и пародируя, и вся эта блистательная смесь из интеллектуальной шелухи создает впечатление не только большой правдоподобности произносимых «философских» речей, но даже заставляет подозревать, не стоят ли за героями Шмелева реальные прототипы. Но нет: персонажи «Прогулки» должны быть признаны вымышленными.

Литераторы и ученые

О Семене Семеныче, выходец «из народа» – т. е. человеку практически, живущем не только духовной пищей, но и заботящемся о хлебе насущном, – сказано, что «он притаскивал иногда кулечек, – “для поддержания философии”, – и тогда услаждались салом и даже запеканкой».

Прелестны почти оксюморонные сочетания, напоминающие об эпохе военного коммунизма: «притаскивать кулечек», «услаждаться салом». В этих оборотах слышится робкая попытка интеллектуалов былой формации отгородиться от беспощадной прозы жизни.

Речи Семена Семеныча как раз предельно прозрачны и просты. «– А если не из философии, а попросту?.. – подмигивая, вмешивался сбочку Семен Семеныч. – Сколько было философов и крови, а благородного блеска нет?.. Подешевле бы как-нибудь нельзя ли?..» (с. 91). Присущая ему насмешливость снижает философский возвышенный тон. Не случайно фраза эта звучит из уст человека простого происхождения, т. е. более реалистического и прямолинейного, уже ожегшегося на идеях «беззаветного служения» народу. Кажется, это его, Семена Семеныча, словами говорит сам автор, который со временем стал более критично оценивать революционное движение и народоцентричный пафос.

В общий разговор вступает поэт Вадя, перебивая философский пастиш цитированием «прозрения» Пушкина – «Пира во время чумы». Эмиграция уже в середине 1920-х гг. обрела привычку мерить Пушкиным все – историю, политические события, художественные свершения. Так и Шмелев переводит диалог своих героев от несвойственной ему умозрительности к привычной материи: своего рода домашней пушкиниане. Когда персонажи возвещают отвлеченные истины, Шмелев невольно склоняется к ироническому тону в осмыслении «математических истин». Диалог Поппера и Укропова начинает подозрительно напоминать обучение денщика катехизису («и тот без запинки отвечал на самые удивительные, оторванные от всего вопросы»), ср.:

«Прогулка» Шмелева

«← ...не обращает ли это... к вечности?!.. – Естественно, обращает» (с. 90).

«Поединок» Куприна

«← Почему сие важно в-третьих? – Сие в-третьих не важно» [Куприн 1957, т. 3, с. 323].

Эта настойчивая аллюзия раскрывает недоверие Шмелева к современному философскому дискурсу. Его собственная горькая насмешка слышна в репликах математика Хмырова. Этому лицу почти без речей принадлежат едкие замечания, касающиеся того момента истории и окружающей обстановки, в которой существуют герои. Восторженный порыв поэта сменяется скептицизмом прагматика, и пушкинская образность теряет мнимую однозначность во времена трагические и жуткие:

Один мне писал, в начале «шепота»... – говорил веско Хмыров: – Почему возмущаетесь? Почему самому Пушкину не верите?! – «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю!» – Подошло мальчику под ребро. Недели в погребке прятался. Полагаю: не до «упоения» было (с. 91).

Скажем несколько слов и о Лишине. Он не философствует, он нашел себя в новой действительности – оставив образы Италии, он обратился к спасению древнерусского искусства и к православию: «Он бродил теперь по церквам, открывая старинные иконы, и ставил свечи. Часто крестился и говорил: “Как Господь!..”» (с. 90). Для этого персонажа «Прогулки», мечтающего «уехать за границу», реальный прототип обнаружить довольно легко. Это искусствовед, автор трехтомных «Образов Италии» (1911–1912, 1924) П.П. Муратов. После революции он работал в отделе по делам музеев и охране памятников искусства и старины Наркомпроса РСФСР, участвовал в реставрации памятников Москвы и Новгорода; вместе с М.А. Осоргиным, Б.К. Зайцевым (с этими двумя его объединяло италомфильство), Н.А. Бердяевым организовал Книжную лавку писателей, спасая русскую рукописную и печатную старину. Был членом Помгола, арестован, выехал за границу «на лечение» в 1922 г., на родину не вернулся. Жил сначала в Риме, а в 1927 г. переехал в Париж, где стал одним из учредителей общества «Икона» и, среди прочего, экспертом художественной галереи «A la vieille Russie» («В старой России»). В 1923 г. Муратов опубликовал в «Современных записках» статью «Открытия древнего русского искусства» – именно «открытия» в отечественной литературе и культуре совершают герои шмелевской «Прогулки», в том числе Лишин, «хорошо зна[вший] Европу». Сама эпоха подталкивает их к знакомству с сокровищами, которыми они прежде пренебрегали, не замечая их. А вот как судит Муратов о древнерусском искусстве: «Признание его высокой художественной ценности совершил дух времени» [Муратов 1923, с. 197]. Статья эта завершалась утверждением:

[Н]и Петр, ни Екатерина не могли создать какой-то новой России, как не создаст ее никто, кто ошибочно думает, что создает ее на пустом месте. <...> Наше творчество XIX века, наша великая литература не есть поэтому непонятный и необъяснимый эпизод, как не есть непонятный и необъяснимый эпизод наша древняя архитектура и живопись. В ней живет многовековая душа нашего народа <...> [Там же, с. 218].

Диалог интеллигентов изображен не без иронии: «путался он словами», «вмешивался, волнуясь, Вадя», «подмигивая, вмешивался сбочку Семен

Семеныч», «вздыхал из угла Укропов» (отметим, что позиция Укропова неизменна – «из угла»: это его и локальная, и метафизическая константа), «чеканил Поппер», «говорил Хмыров в бороду». Сами диалоги носят отрывочный характер, что подчеркнуто обилием отточий. Разговоры идут о предельно серьезном, о пережитом. А преподносятся – насмешливо. «Так они шевелили душу», – подытоживает Шмелев. Но зачем, для чего ведутся философские прения при диктатуре пролетариата? На этот вопрос дали ответ герои Осоргина, такие же «хорошие русские интеллигенты», собеседующие в «старом профессорском особнячке» в «тихом и уютном Сивцевом Вражке» ([Осоргин 1999, т. 1, с. 109]; напомним, время действия романа и время его публикации те же, что и у «Прогулки» Шмелева):

– Философия стала уж слишком очевидной роскошью. Как и вообще наука. Для себя самого – да, а для других – не знаю. Чему учить других, когда жизнь учит лучше всякого философа? <...>

– Как же тогда, делать-то что же, улицу мести? Мудрость, веками накопленная, не может же вдруг в один день стать ненужной [Там же, с. 127].

Добавим некоторые соображения еще о двух представителях компании. «Угадать» реальных лиц в Ваде и Семене Семеныче не так просто, как философов: шаржировать коллег по цеху, писателей, было более опасным переходом на личности. Это классические собирательные образы. Выскажем, однако, одну робкую догадку: и гордый за «протаскивание» Бога в советскую поэзию Вадя, и происходящий «из народа» Семен Семеныч могут быть отражением трагической участи, постигшей в 1925 г. крестьянских поэтов, арестованных по сфабрикованному делу; некоторые были расстреляны – Алексей Ганин, Петр и Николай Чекрыгины; Николай Клюев, Сергей Клычков, Павел Васильев и Петр Орешин были расстреляны в 1937 г. (упоминаем самые яркие имена). Однако уже в 1920-е гг. было ясно, что сами они глубоко чужды новой власти, а их творчество нежелательно. Между тем кудри Вади и его поэтические строки (с Богом в начале строфы) настойчиво напоминают о С.А. Есенине – хотя этой черты слишком мало для каких-либо отождествлений. В 1922 г. им было написано стихотворение «Да! Теперь решено. Без возврата / Я покинул родные края», посвященное Москве и завершающееся словом «Бог». Обращенное к оставленной деревне, стихотворение наполнено любовью к старой, уходящей Москве (с характерными эпитетами города, «обрызг» и «одрях»), к ее золотым куполам. В год начала крестового похода власти против

православия и высылки инакомыслящей интеллигенции стихотворение обретает неожиданный смысл:

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне Бог.

[Есенин 1966, т. 2, с. 119–120]

Подмосковные усадьбы при царях и при Советах

Продолжим чтение – и совершим наконец прогулку с героями Шмелева, столь явственно напоминающими самых разных представителей внезапно оборванного Серебряного века, «открывающими» для себя заново Россию.

Шмелев и тут верен себе. С одной стороны, он выявляет «новые смыслы»: после голода, бессудных убийств, «края» жизни простота, чистота, сам хлеб насущный оказываются молитвенно прекрасны и приводят в восторг, как в первый день творения, будто заново родившихся в раю интеллектуалов. С другой стороны, некоторая ирония – пуантом на конце фразы – проникает и в самый возвышенный строй мыслей:

В кусочке хлеба, в его аромате и ноздреватости теперь открывался особый смысл. В розоватых прослойках сала, в просыпанной пшенице, которую подбирали, как святое, вскрывалась некая острота познания. Кристаллик сахара, выращенная в горшке редиска наливались особым смыслом. Даже ходить неряхой – и в этом было что-то несущее (с. 92).

Насмешка становится все ядовитее, в то время как упоение старой Россией нарастает *crescendo*, ее еще не погубленная старина восхищает, умиляет, трогает до слез. Это как будто прощание, и Шмелев без стеснения акцентирует в очередном пуанте желание мыслящей интеллигенции оказаться подальше от революции и от России со всеми ее культурными ценностями:

Открывались новые радости. Аксаков являл чудесное простотой: «Вода – красота природы!» Тургенев ласкал уютом. История России блистала грозами, светилась Откровением. Собрания «вечного искусства»

томили сладчайшей грустью, сияли отблеском Божества. Мечталось уехать за границу.

– Да, хорошо бы за границу... – признался Поппер.

Одним из «открытий» хорошей русской интеллигенции становится хрестоматийный, но как будто заново прочитанный Пушкин:

Как-то Вадя принес «открытие»: – Это что-то непостижимое!.. «К вельможе»!.. Вчера... всю ночь... десятки раз... весь мир!

Лишь только первая позеленеет липа,
К тебе, приветливый потомок Аристиппа,
К тебе явлюся я; увижу сей дворец,
Где циркуль зодчего...

Он читал вдохновенно, прячась в своих кудрях¹⁷. Да, удивительно. Поппер взял с полки книгу (с. 92).

Послание Пушкина «К вельможе» (1830) адресовано князю Н.Б. Юсупову (1750–1831). Государственный деятель, дипломат, меценат и коллекционер, он приобрел усадьбу Архангельское в 1810 г. Владелец «чудной подмосковной» князь Юсупов «не был создателем Архангельского, но его образ неотделим от усадьбы: Юсупов оживил ее, наполнил художественными произведениями, украсил дом и дополнил историю Архангельского теми страницами жизни, которых ему не хватало» [Шамурин 1914, кн. 1, с. 38]. Сразу после декламации «открыли тетради “Столица и усадьба”, томики – “Подмосковные”» и поразились – «Сколько перлов! И не замечали как будто раньше? Поппер сознался, что не бывал ни в одной усадьбе. Лишин знал хорошо Европу, а “усадьбы откладывал”. Укропов “все собирался, да так и не собрался”» (с. 92). Друзья решили восполнить этот пробел, начав с посещения Архангельского: «Поппер прочел накануне “Подмосковные” и объяснял подробно» (с. 93). Подробнее статью «Архангельское» из первого тома «Подмосковных» как один из источников рассказа И.С. Шмелева «Прогулка» рассматривает Ю.У. Каскина ([Каскина, Герасимов 2024]; см. также с. 95–101 настоящего издания); к ее исследованию мы и отсылаем читателя.

И в авторском нарративе, и в речах персонажей Шмелев, сталкивая прошлое и настоящее, прибегает к наращению одного стилистического приема – от контраста к антитезе, мастерски соединяя гиперболу с литотой, описывая приметы времени оксюморонами и заостряя иронию

пуантами на конце фраз. Порой, впрочем, достаточно простой констатации: не знал, не бывал, не посещал, – чтобы получить точное представление о «хорошей» русской интеллигенции. Однако словесной игры писателю мало, ему нужно столкнуть миры, его стихия – космогония. Он еще не стал тем демиургом, который всего через пару лет создаст небывалый мифопоэтический образ России в «Лете Господнем», сотворит особый мир – «шмелевскую Москву». В рассказе «Прогулка» Шмелев наделяет недавние события истории эсхатологическими чертами; гибель русской цивилизации, в ипостаси империи, и возникновение на ее обломках некоей «советской» антицивилизации запечатлены через рассказ о невинной загородной экскурсии.

Опираясь на путеводитель (что убедительно доказывает Ю.У. Каскина), Шмелев ведет своих экскурсантов к великолепной громаде дворца, с его узнаваемой колоннадой и беломраморными статуями. Дворец стоит во всем своем великолепии, но создавшая его цивилизация, воспетая Пушкиным, уже погибла; это уже не цветущий Рим эпохи цезарей, а только его руины, по которым, как на картинах упомянутого в рассказе Юбера Робера, бродят козы да поселяне:

На остановке сошли. Потянулись поля картофеля, изрытые, в ворохах ботвы. Кое-где добирали бабы. Было начало сентября, сухая и ясная погода, припекало, сверкали паутинки. Приятно было идти по пыли, мягко. Вдали темнел плотной стеною бор, белела колокольня (с. 93).

Этот пейзаж совсем не свидетельствует о близости дворцовой роскоши и весьма напоминает пейзаж, увиденный глазами чеховского студента из одноименного рассказа. Студент-семинарист Великопольский бредет в Страстную неделю какими-то лугами и огородами и думает «о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и при Петре» [Чехов 1985, т. 8, с. 263]. И обозначенный колокольней храм, и крестьянская, бедная, не дворцовая жизнь, и даже возящиеся с картошкой бабы невольно вызывают в памяти сияющий евангельским светом рассказ «Студент» и мысли героя

о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, – ему было только 22 года, – и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного

счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной высокого смысла [Там же, с. 265]¹⁸.

Такой жизнь казалась и расстрелянному в 1921 г. в Крыму сыну писателя. Схожими чувствами объята и предвкушающие встречу с прекрасным героиней Шмелева: «Въездными воротами, – с барельефом Трубящей Славы, – вступаем в парк, где когда-то прогуливался Пушкин. Бор раздвигается, и в перспективе аллеи – величественная арка, сквозные колоннады...» (с. 93). Автор послания «К вельможе» (Шамурин ошибочно именуется стихотворение одой), воспевающий парк и дворец с его сокровищами – книги, скульптуры, картины, – не останавливается на конкретике, не воссоздает интерьеров, он разворачивает эпичное историческое полотно. Шмелеву нужны детали, и Поппер особенно выделяет в своем рассказе «голубую, под серебро, “спальню герцогини Курляндской”» (с. 93; кавычки маркируют дословно цитируемый текст «Подмосковных»). Опираясь на историко-краеведческие источники, С.В. Шешунова приводит ценные сведения об обстановке этой интимной комнаты, о рано умершей любимой сестре князя Н.Б. Юсупова – жене герцога Курляндского [Шешунова 2021, с. 17]. Веселость Маяковского в сходном контексте («помпадуршины спаленки»; «Версаль», 1925) Шмелеву совсем не свойственна, а трактовка темы обретает гротескные и одновременно зловещие черты.

Приготовившись собственными глазами увидеть обещанные шедевры живописи и архитектуры, изящные гостиные, богатые интерьеры, путники были внезапно остановлены патрульным солдатиком при входе в усадьбу. Им было безапелляционно отказано в осмотре дворца и усадьбы, поскольку хозяйка «уехала, а без ее нельзя» (с. 95). Находящимся в замешательстве экскурсантам очередной человек с ружьем – охрана новой власти – разъясняет: «А коль к самому поехали, до ночи не воротятся. Он в Ильинском¹⁹ теперь живет» (с. 96).

Оказывается, в усадьбе Архангельское теперь проживает теща председателя Реввоенсовета Советской республики Л.Д. Троцкого со своим старичком-супругом – «Афанасий Иваныч и Пульхерия Ивановна, стиль-модерн» (с. 94). Все горше насмехаясь над прекраснодушием философствующей интеллигенции, идеалистически уверовавшей в «алмазы духа», в свободу и демократические ценности, писатель прибегает к финалу главный удар – буквально забивая гвоздь в гроб революции, насмеявшейся над светлыми идеалами. Он открывает подлинную суть «большевистской диктатуры»: в «экспропрированном» дворце по-господски поселяются экспроприаторы. Именно об этом «гвозде» сам Шмелев писал

Ильину 29 июля 1927 г.: «Я “Прогулку” написал – как бы вздохнул. Ох, за этот “гвоздик” меня пронзят кос<ыми> взглядами и будут орать (про себя!) – жидоед! Хотя “жида” и нет!? А только “теща”» [Ильин 2000, т. 1, с. 45]. И, надо отдать должное фантазии писателя, он не жалеет красок, создавая образ современной Салтычихи: «Живот надьсь у ей схватило, ночью... сметаны облопалась... Тут у их во-семь коров, молоком торгуют... Солдата в аптеку ночью погнала, за семь верст! Сво-лочь какая, погнала!.. <...> Разве энто порядки? Царица, вон говорят, у нас и то так не гоняла...»

Как не являются полной выдумкой философские прения персонажей «Прогулки», так и в «теще Троцкого» художественный вымысел переплетается с историческими фактами. В 1923–1924 гг. Л.Д. Троцкий с женой Натальей Ивановной Троцкой (Седовой), заведовавшей в 1918–1928 гг. музейным отделом Наркомпроса, действительно проживали на втором этаже дворца в квартире «с обстановкой из шести гарнитуров музейной мебели». Художник Ю.П. Анненков (1889–1974) вспоминал, как он работал над заказанным ему портретом «товарища Троцкого», причем в разных дворцах и исторических усадьбах, в доме Щукина на Знаменке, где тогда еще хранилась знаменитая коллекция западноевропейской живописи, и у Толстого в Хамовниках, а также во дворце Юсуповых в Архангельском [Анненков 2019, с. 615]: «Здесь, “в роскошно обставленных комнатах”, он <Троцкий> многократно позировал для портрета Ю.П. Анненкову» [Шешунова 2021, с. 18].

Впоследствии надолго оказавшийся в запасниках, этот портрет мгновенно обрел известность и даже мировую славу. Портрет председателя Реввоенсовета был заказан художнику в 1923 г. к пятилетию Красной армии. Работая над четырехметровым полотном²⁰, Анненков делал зарисовки соратников Троцкого, ярких представителей эпохи экспроприации и национализации (среди прочих Г.Е. Зиновьева, Вс.Э. Мейерхольда, К.Е. Ворошилова, К. Радека, А.В. Луначарского). В 1926 г. был издан альбом «Юрий Анненков. Семнадцать портретов», включивший в себя, разумеется, портрет Л.Д. Троцкого; в 1928 г. альбом был изъят и его тираж почти полностью уничтожен. Шмелев успел упомянуть всесильного «Троцково» на самом излете его сногшибательной карьеры. Между тем в 1924 г. гигантский портрет был отправлен на XIV биеннале в Венецию; сопровождавший свое творение Анненков в советскую Россию не вернулся, уехал во Францию, затем в Америку, стал успешным кино- и театральным декоратором. Живя в Париже, сотрудничал с советским посольством и публиковался в эмигрантской печати под именем Бориса Темирязева («Повесть о пустяках», 1934).

В 1991 г. публикаторы автобиографии Троцкого «Моя жизнь»²¹ увлеченно утверждали: «Л.Д. Троцкому суждено было прожить яркую, полную превратностей жизнь профессионального революционера <...> Л.Д. Троцкий наиболее наглядно воплотил в себе грандиозные достижения и не менее грандиозные иллюзии героического периода Великой Октябрьской революции <...>» И доверчиво цитировали своего героя: «Оперировать в политике отвлеченными моральными критериями, – писал он, – заведомо безнадежная вещь. Политическая мораль вытекает из самой политики, является ее функцией. Только политика, состоящая на службе великой исторической задачи, может обеспечить себе морально безупречные методы действий» [Троцкий 1991, с. 7, 13]. Так, руководствуясь «безупречной» политической моралью и столь же «безупречной» памятью, Троцкий повествует о своей великой жизни на службе мировой революции; нас интересует только, как он вспоминает о жизни в старинных дворянских усадьбах Архангельское и Ильинское. У него и впрямь блестящая топографическая память. О детстве в Яновке, о нелегальной жизни на Таврической ул. в Петрограде накануне Октября 1917 г., о том, как «объезжал на автомобиле» Берлин, а позже Ленинград, Троцкий пишет со всей откровенностью. А о пребывании в «подмосковных» сообщается крайне туманно: «<В>есною 1920 г. <я> провел около двух месяцев под Москвой. <...> В то время как выздоравливавший Ленин жил еще в деревне, а я отсутствовал из Москвы...» и т. п. [Там же, с. 446, 455]. О захвате Архангельского в книге 1929 г., написанной и изданной в эмиграции, не сказано ни слова. Впрочем, жутковатым символом грандиозной октябрьской аферы звучит следующее уточнение (в рассказе о болезни Ленина): «Ленин лежал в Горках, я – в Кремле» [Там же, с. 473].

Название подмосковной резиденции Троцкого возникает лишь раз в процитированных им записках жены: «Мое недомогание приняло тем временем затяжной характер. “По настоянию врачей, – пишет Н.И. Седова, – перевезли Л.Д. в деревню. Там Гетье (врач. – Т.М.) часто навещал больного <...>. В Архангельском он мне с волнением говорил о необходимости отвезти Л.Д. в Сухум”» [Там же, с. 482]. Трогательно это именование оккупированного Троцким роскошного, набитого сокровищами дворца – деревней²². Адепт «перманентной революции» Троцкий революционно отнесся и к своей временной резиденции, дожив в ней до 1927 г. и безжалостно перестроив дворец, приспособив его под свои нужды. В 1930-е гг., при обустройстве в усадьбе военного санатория, была сломана оранжерея и разрушены ведущие к ней римские ворота. Построенные в начале XIX в.,

они имитировали античные триумфальные арки. Барельеф трубящей о победе крылатой Славы²³ был размещен только на левой части портала, правая была искусственно «руинирована» в духе романтизма. Знаменательно, что из всей богатейшей скульптуры Архангельского Шмелев сосредоточился именно на этом аллегорическом образе. Пером писателя он был запечатлен перед тем, как навеки исчезнуть.



Римские ворота в Архангельском.

И.Н. Александров. 1904. Фотография. ГИМ 89430/1434

Обескураженные шмелевские экскурсанты, так и не увидев ничего из обещанного, плетутся восвояси. Им глубоко понятны чувства и мысли, которыми руководствовался Н.Б. Юсупов – хозяин великолепного дворца и создатель его бесценных коллекций, им близок проникновенный пафос обращенного к просвещенному вельможе стихотворения Пушкина, и они солидарны с верно сформулированным в статье Ю.И. Шамурина пониманием того, как в русских усадьбах складывался культурный код России. Но им тяжело и досадно, что послереволюционная новая жизнь, да и они сами обратились в пародию на подлинную, настоящую жизнь, культуру, историю. «Перманентная революция» по-гоголевски хлестко

и беспощадно («выражается сильно русский народ!»), без философствований припечатана Шмелевым: «те-ща!»).

Личность и массы

Есть и другие немаловажные локусы в рассказе – это вокзал, откуда компания отправляется в свое путешествие, и станция, где оно заканчивается. «Как-то сошлись на вокзале, с мешочками: хорошо закусить в парке, подле Дианы или Флоры» (с. 92). Найден еще один яркий образ характерной для рассказа антитезы века нынешнего и века минувшего – художественные сокровища веков созидания и мешочничество революционной эпохи.

К ним подошел, в галифе, с кобурой. Справился: кто, куда?

– А, всерабисы²⁴... Мо-жете.

В вагоне говорили об искусстве, об Архангельском-Юсупове. Какой-то пьяньский пробовал задирать и обозвал «голопятыми».

– Все им гуля-нки!.. Зна-ю... Не переводятся... есупы!.. Какии у вас... архангелы?.. Мало вам, что Господни... храмы... Я зна-ю!.. (с. 93).

И хотя сами интеллигенты при этом молчат, мы видим реакцию на них окружающих – милиционера, случайного попутчика, которым они глубоко чужды, почти враждебны.

То же происходит в поле по дороге к усадьбе, где экскурсанты разжились картошкой, купив ее у баб «полподола за полтораста тысяч». Звучит диалог непонимания с «боевой» бабой, причем инициирует его, пытаясь купить картошку, Семен Семеныч, сам выходец из народа:

– Скидай штаны – дам пригоршню!

– Скидать-то стыдно, красавица... – сказал старичок под хохот.

– Слопали нонче стыд-то!.. – швырнула баба (с. 94).

Оригинальная мера веса и запредельная цена красноречиво позволяют ощутить социально-экономические условия жизни в этот исторический момент и осознать уровень инфляции. Источников дохода у Советской республики в годы Гражданской войны фактически не было; голод 1921 г. заставил включить печатный станок. Денежная реформа была осуществлена в 1922–1924 гг. в несколько этапов с проведением деноминации. Первая была реализована 3 ноября 1921 г., номинальная стоимость дензнаков понизилась в десять тысяч раз; вторая прошла 24 октября 1922 г., новый

рубль приравнялся к ста рублям старых. Стоимость пары килограммов картошки (полподола)²⁵ – казалось бы, незначительная подробность мимолетного отвлечения от сюжета – позволяет, на первый взгляд, точно установить время действия рассказа: это сентябрь 1921 г. Однако не все так однозначно.

Реплики пьяного попутчика, злобно бормочущего про храмы и архангелов, отражают очередной поворот в большевистском правлении. Н.А. Бердяев вспоминал: «Положение начало меняться с весны 22 года. Образовался антирелигиозный фронт, начались антирелигиозные преследования» [Бердяев 1991, с. 240–241]. Дело не только в том, что Шмелев работал над рассказом не как ученый, скрупулезно собирающий точную информацию, и не стремился к строгой фактографии. Писатель уплотняет реальное время, сконцентрировав исторические факты двух лет начавшегося нэпа в нарративе об одном незначительном событии и создав художественный хронотоп большого символического наполнения. Прогоулка, однако, не могла состояться осенью 1922 г., и вот почему:

Лето 22 года мы провели в Звенигородском уезде, в Барвихе, в очаровательном месте на берегу Москвы-реки, около Архангельского Юсуповых, где в то время жил Троцкий. Леса около Барвихи были чудесные, мы увлекались собиранием грибов. Мы забывали о кошмарном режиме, он чувствовался меньше в деревне. Однажды я поехал на один день в Москву. И именно в эту ночь, единственную за все лето, когда я ночевал в нашей московской квартире, явились с обыском и арестовали меня [Бердяев 1991, с. 241].

Ждали его обратно вечером, но он не вернулся. Вместо него приехал знакомый и рассказал, что в Москве идут аресты писателей и профессоров, и в числе других взят и наш милый Николай Александрович [Осоргин 1992, с. 228].

Деревенский дом философ делил с писателем М.А. Осоргиным, который со свойственным ему юмором рассказал об этом последнем периоде московской жизни «хорошей русской интеллигенции» в очерке «Как нас уехали» [Осоргин 1932]. Деревня Барвиха (поселок Обори́ха, Оборви́ха) у заповедного соснового бора стала дачным курортом еще в середине XIX в., а в нескольких километрах «в бывшем большом барском именье летом живут общежительно семьи народных комиссаров – Троцкого, Каменева, Дзержинского, главного палача, и именье окружено высокой

кирпичной оградой – дачное гнездо предержавших властей» [Осоргин 2009, с. 293]. Архангельское расположено на противоположном берегу Москвы-реки, но обитатели Барвихи и их гости непременно включали его в свои пешие прогулки:

В памяти у меня от Барвихи разговоры, и ненасытность в прогулках – полями, полями до дальнего Архангельского, где век Екатерины, или вдоль Москвы-реки до чудесного парка другой Подмосковной. Совсем близко – сосновый бор – там лежим на теплых иглах, читаем вслух, пересказываем друг другу быль этих лет [Герцык 1973, с. 140].

В августе барвихинские насельники были арестованы и давали показания в ЧК. Осоргин описал свое «последнее лето» в России через пять лет после публикации «Прогулки» (к десятилетию высылки). Этот мемуарный текст имеет ценность прежде всего историко-документального источника, дополняя очень личными моментами общую картину преследования интеллигенции:

И вот иду, сначала полями, затем углубившись в лес. <...> Это была последняя красота, которую я видел в России. <...> Думаю, что путь я избрал правильный: в сторону летней резиденции многовластных людей: Троцкого, Дзержинского, Каменева. Было какое-то очень странное старое имение, окруженное высокой каменной стеной; туда они приехали отдыхать из Москвы, там жили их семьи. <...> По малой своей осторожности, выходя гулять в лес, встречался с дачниками, и не совсем удачно: один раз – с сестрой Каменева, другой – с женой и сыном Троцкого; обе сановницы меня, кажется, знали, Каменева во всяком случае; она была раньше постоянной посетительницей нашей, лишь недавно ликвидированной Лавки писателей. Об арестах писателей и ученых говорила вся Москва <...> [Осоргин 1992, с. 229–230].

Через десять лет Осоргин переписал этот эпизод для книги воспоминаний «Времена» (1942), добавив деталей:

Уехать из Москвы в деревню Барвиху не так просто. На вокзал идти пешком, потому что извозчики разъехались по деревням на сельские работы; денег им не нужно, а не голодать можно только близ земли. Поезда существуют, но нет для них точного расписания. Добравшись до маленькой станции, шагай опять пешком два-три часа через поля, краткой

дорогой через овраги, болотцем по кочкам, лесом по корням деревьев случайной тропой [Осоргин 2009, с. 290].

Описание «прогулки» от железнодорожной станции полями и сосновым бором к деревне у Осоргина почти дословно совпадает с описанием маршрута шмелевских героев. Необходимое логистическое разъяснение: ближайшая станция к Архангельскому – Павшино (открыта в 1908 г.) Московско-Виндавской железной дороги (позднее Рижское направление), от которой пешком до усадьбы полтора-два часа пешего хода; станция Барвиха появилась лишь в 1926 г. на тупиковой ветке, идущей от Рабочего поселка, до ее появления приходилось добираться пешком те же полтора-два часа от платформы 20 верста (ныне Баковка) Московско-Смоленской железной дороги (позднее Белорусское направление). И вновь, как мы видим, Шмелев стремится не к житейской точности, а к художественному эффекту, опустив рассказ о длительной двухчасовой прогулке для усиления ее финального фиаско.

Закольцовывает композицию рассказа полустанок, с которого через двадцать минут героям предстоит поехать обратно. Но вернуться в минувшую жизнь, навсегда утраченную, никому уже не суждено.

В январе 1928 г. «Троцково» отправили в ссылку, а в феврале 1929 г. выслали за пределы страны. В 1930 г. вышла из печати его автобиография «Моя жизнь», в 1931 г. – «История русской революции». Но этот исторический персонаж не интересовал более писателя, обратившего перо к созданию своего самого сокровенного труда – «Лета Господня», в котором светлый образ Москвы устремлен к прошлому и к будущему, минуя настоящее. Остается добавить, что Троцкий, страстный рыболов и охотник, с размахом и вкусом поистине аксаковскими описывавший ловлю рыбы сетями (неподалеку от него на том же берегу Москвы-реки Осоргин и Бердяев «сидели с удочкой» – разница масштабов!) и рысканье по лесам с дробовиком в компании Ильича, признавался: «Прогулки не были для меня отдыхом, не являются им и сейчас. Привлекательность охоты состоит в том, что она действует на сознание, как оттяжной пластырь на больное место...» [Троцкий 1991, с. 446].

Рядом с высоким в рассказе Шмелева неоднократно возникает низкое, на контрасте высот человеческого духа и искусства возникает современность во всей ее неприглядности. И.А. Ильин обратил внимание в своем эпистолярном отзыве на рассказ (мы цитировали его в начале статьи) на «солдатишк<u>, который “не только не глуп”, но во всей своей откровенности где-то пупом мудр... и ужасен». Помимо этого солдата «ужасны»

и другие встречные – «швыряющиеся» наглými словами бабы, озлобленный пьяный попутчик. Все они бесконечно далеки от восходящих к прекрасной античности скульптур, от чеканных строф Пушкина... Что произошло с людьми, как превратились они – мастеровитые, трудолюбивые, создавшие мощное, богатое, процветающее государство – в разрушительную, безликую массу? В марте того же 1927 г. Шмелев написал рассказ «Гунны», о красноармейцах, вошедших в Крым:

Надвигалось мохнато-пестрое. <...> Вид у кавалеристов был необычайно дикий.

– Да-альше?.. – выглянул из-за чуба малый и посмотрел на море. – Теперь нам везде дорога! Немцев вытряхнули, кадетов... растрепали... теперь хочь через все море!..

– Да-да-да... – мягко сказал Кожух, – всю Россию завоевали, теперь уж...

– Сами Россия! А теперь с цельным светом расправляться будем... и установим рижим, как гу-мны!..

– Гу-мны?.. – вдумчиво повторил Кожух.

– Значит, завоевали!

– Всех теперь покорим!.. – крикнул очутившийся возле, с пикой, похожий на волчонка, со щучьей мордой. <...>

– Был сейчас на шасе с коровой... энтих видал, молодчиков! Из Ялтов, с песнями... пьяные, понятно. Кричат: «Прощай, старик! Идем в последний бой!» – Веселые, ничего. А я все гляжу и думаю: «И чему, дураки, радуетесь! на что идете?!» А те-то... головы замочили, а сами в Москве пируют! И империалисты, понятно, ради... Я вспомнил «гуннов». С песнями шли на бой... За что?! А через две недели – все полегли на Ак-Манае, до одного. Рванулись бесшабашно – и полегли. Так, просто [Шмелев и Деникин 2023, с. 301, 303, 305].

В «Гуннах» персонажи говорят изломанным, кривляющимся языком, коверкая не только непонятные и невнятные для них понятия, но и самые простые, как будто даже язык стал «диким».

На эту же особенность обратил внимание Н.А. Бердяев, указав на «изумительное перевоплощение» лиц не только в «пролетариате», но и в руководящем сословии. Свой «новый и мучительный опыт» философ связал именно с «завоевателями», с теми, кто взял власть или поддержал ее, и бердяевские рассуждения об антропологической мутации народа и появлении «милитаризованного» типа сродни созданию Шмелевым

коллективного образа «гуннов» (не только в процитированном рассказе). Обратим внимание: мимолетные встречные на пути у портретно и лично выразительно обрисованных героев Шмелева не имеют ни лиц, ни даже человеческого облика (подошел «в галифе, с кобурой»; бабы копали картошку, явно демонстрируя героям «телесный низ»), только ужаснувший Ильина солдатик имеет внешность – хотя и мало привлекательную: «белобровый парнишка, с слюнявыми губами». Бердяев попытался истолковать «удивительные метаморфозы», которые происходят «с людьми и народами»:

Это очень остро ставит проблему личности. Личность есть неизменное в изменениях. В стихии большевистской революции меня более всего поразило появление новых лиц с небывшим раньше выражением. Произошла метаморфоза некоторых лиц, раньше известных. И появились совершенно новые лица, раньше не встречавшиеся в русском народе. Появился новый антропологический тип, в котором уже не было доброты, расплывчатости, некоторой неопределенности очертаний прежних русских лиц. Это были лица гладко выбритые, жесткие по своему выражению, наступательные и активные. Ни малейшего сходства с лицами старой русской интеллигенции, готовившей революцию. Новый антропологический тип вышел из войны, которая и дала большевистские кадры [Бердяев 1991, с. 230].

Для Троцкого же это было не страшным открытием, как для Шмелева и Бердяева, а было как раз главной целью – заменить «массой» личность:

С точки зрения так называемой абсолютной ценности человеческой личности революция подлежит «осуждению», как и война, как, впрочем, и вся история человечества в целом. Однако же самое понятие личности выработалось лишь в результате революций, причем процесс этот еще очень далек от завершения. Чтоб понятие личности стало реальным и чтоб полупрезрительное понятие «массы» перестало быть антитезой философски привилегированного понятия «личности», нужно, чтоб сама масса краном революции, вернее сказать, ряда революций, подняла себя на новую историческую ступень. Хорош или плох этот путь с точки зрения нормативной философии, я не знаю и, признаться, не интересуюсь этим. Зато я твердо знаю, что это единственный путь, который знало до сих пор человечество. Эти соображения ни в каком случае не являются

попыткой «оправдания» революционного террора. Пытаться оправдать его – значило бы считаться с обвинителями [Троцкий 1991, с. 450].

Как мы знаем, этот «путь» Троцкого был пройден с трагическими для русского народа потерями, но был связан и с обретениями: поначалу эта масса «гумнов», терроризируемая обезличенными «в галифе, с кобурой» карателями и полагающая, что «такой закон, допущена до дела» [Шмелев 1998, т. 2, с. 95], казалась действительно утрачивающей личностное начало; но всеобщее образование, участие в небывалых по размаху проектах по индустриальному и культурному строительству, развитие науки и искусства неизбежно вели к личностному самосознанию и росту. Личность снова начала осознаваться как Божья идея о человеке.

Среди «замет» И.С. Шмелева 1947–1948 гг. есть небольшой рассказ «Врешь, есть Бог...» (Архив ДРЗ. Ф. 41. Оп. 3. Д. 163. Л. 1–3), который возвращает во времена всевластия Л.Д. Троцкого. Дело происходит не в Архангельском, а в Ильинском («былой резиденции вел. кн. Сергея Александровича»), расположенном на другом берегу Москвы-реки. Шмелев подчеркивает документализм этой «заметки», хотя и не занесенной вовремя в записные книжки, но воспроизведенной по памяти. Писатель усугубляет достоверность истории, ссылаясь на рассказчиков – писателя В.В. Вересаева, с которым он был хорошо знаком по Крыму, и его брата, «видного большевика». Советский партийный и государственный деятель П.Г. Смидович (1874–1935) приходился писателю троюродным братом, был женат на вдове родного брата А.В. Луначарского; их сын, инженер-электрик, был репрессирован в 1938 г. У Л.Д. Троцкого и Н.И. Седовой было два сына: Лев (1906–1938) последовал за родителями в эмиграцию, умер в Париже; Сергей (1908–1937) остался в СССР, был репрессирован, расстрелян. Речь, очевидно, идет о младшем из «вызревающих фруктов» («что-то совершенно дикое, в отношении к людям, к жизни... – “очень далекое от ‘идеалов’ папаши”») – «мальчишка лет двенадцати».

У насельника Кремля и обитателя подмосковных дворцов росла достойная смена: «Все к услугам: верховые лошади, оружие, средства... – имперского масштаба»:

Троцкий-младший командовал: говорил, следуя примеру, «зажигательные речи», «объезжал фронт», ему отдавали честь. Троцкий-старший любовался. Ружейные приемы, маршировка, построенья, стрельба, атаки... – как полагается. Было и обучение «словесности».

На одном из уроков командир объявил, что – «никакого Бога нет». Это уже слышали. Из церкви с. Ильинского уже были изъяты «ценности», но церковь еще не закрыли²⁶, народ молился, и ребят водили. Кой-кто отбил-ся, по словам батюшки: после рассказа Вересаева я был в с. Ильинском.

Далее и рассказан «скверный анекдот» (изобретенный Достоевским жанр подходит здесь как нельзя лучше): охваченный воинствующим атеизмом юный «командир» топит икону. Ужаснувшиеся свидетели – и млад, и стар – увидели чудо: икона всплыла. Тут-то и раздался возглас одного из ребят: «Врешь, есть Бог!» Троицкий сына отругал, а икона исчезла – ночью ее выловил кто-то из деревенских жителей (Шмелев не может удержаться, чтобы не повысить градус геройства, – «матрос порт-артурец»). Завершается рассказ пророчеством: «Где та икона – неизвестно. Время придет – объявится».

Обратим внимание только на одно признание: «я был в Ильинском». Оно бросает совершенно иной свет на экскурсию в усадьбу Архангельское философствующей компании: посещавший Ильинское Шмелев мог увидеть и экипаж с буколическими родственниками диктатора; мог он посетить и Архангельское и быть остановленным часовым. И если в описании дворца и парка писатель опирается на статью Ю.И. Шамурина, то сентябрьский подмосковный пейзаж и римские ворота с трубящей на руинах Славой относятся, очевидно, к его собственным впечатлениям. Среди адресатов писателя в 1921 г. были Луначарский и чуть ли не сам Ленин, готовый остановить расстрел Сергея. Ничто не могло удержать Шмелева и от попыток получить аудиенцию у власть предержащих высокопоставленных большевиков даже в их загородных резиденциях.

Идеи и вера

Очевидно, что рассмотрение рассказа И.С. Шмелева «Прогулка» выходит за рамки привычного анализа поэтики литературного произведения и комментария к нему. Рассказ написан в комбинированном художественно-публицистическом стиле, с включением пастиша из философских диалогов, с пространными поэтическими цитатами и пересказом с элементами цитирования историко-культурного очерка; ирония висельника, подкрепленная разными видами комического, проступает на многоплановом историко-культурном фоне недавнего прошлого. В ретроспективе интеллектуальных эпох Шмелев на нескольких страницах создает невероятную концентрацию исторических деятелей, аристократов и революционеров,

философов и поэтов, баб и солдат, архитектуры и искусства – и при этом не перегружает нарратив, а ведет рассказ в легкой, непринужденной, порхающей манере, демонстрируя необыкновенную виртуозность пародийно-иронической игры со словом, сочетая отточенность формул («Дотрубилась, голубушка!») с блеском оксюморонных ходов, словесных шаржей и карикатурного кривляния в языке эпохи (пассажир в поезде). Персонажи «Прогулки» – плод художественного воображения писателя, и одновременно в изображенных им всего нескольких персонажах представлен невероятный сплав идей, текстов, личностей пореволюционной поры. Еще оставшаяся в стране, не враждебная изначально большевикам московская интеллигенция жила своей интенсивной интеллектуальной жизнью. Почти всем удавалось найти службу в Наркомпросе, преподавать, печататься; удавалось и объединиться. Так, М.А. Осоргин «создал Всероссийский союз журналистов и стал его первым председателем. В Московском отделении Союза писателей он был товарищем председателя, написал первый устав Союза (совместно с М.О. Гершензоном)» [Авдеева 2009, с. 11]. За полгода – между Алуштой и Берлином – жизни в Москве в 1922 г. И.С. Шмелев везде перебивал, всех перевидал, переслушал²⁷ и ненадолго задержался после высылки инакомыслящих за пределы советской России.

Шмелев играет на чужом поле. Он чужд философствования, не входит в круги философов, к тому же за годы Гражданской войны кардинально изменилось его место в литературном процессе – из знаньева «демократических убеждений» он превратился в представителя правого (православно-монархического) лагеря. Он имеет смелость написать «Прогулку», выведя вереницу своих современников – «хороших русских интеллигентов», обитателей пореволюционной Москвы, не имея представлений о том, чем и как они в действительности жили. Однако, будучи неточным в деталях, писатель создает художественно убедительный образ эпохи, не только не опровергаемый ее прямыми участниками, но, напротив, подкрепляемый их гораздо более поздними мемуарными свидетельствами.

Знаменательно, что большим философским событием 1927 г., который начался для Шмелева с эпистолярного знакомства с Ильиным, стал выход книги тогда еще мало известного немецкого философа М. Хайдеггера «Бытие и время» («*Sein und Zeit*», февраль 1927). Этот труд стал одним из важнейших не просто в истории интеллектуальной культуры XX в., но и в истории мировой философии в целом. Работа была опубликована в научном «Ежегоднике по феноменологии и феноменологическому исследованию» (т. VIII), прочитана только специалистами, владеющими немецким

языком, а известной и популярной стала лишь в 1930-е гг., когда ее издали отдельной книгой и стали переводить на иностранные языки. В русском зарубежье на книгу Хайдеггера первым откликнулся рецензией В.Э. Сеземан в журнале «Путь» (1928. № 14); затем в своей франкоязычной книге о современной немецкой философии 1930 г. отозвался Г.Г. Гурвич (G. Gurvitch). Известна рецепция труда Хайдеггера Н.А. Бердяевым, Н.О. Лосским, Л.И. Шестовым, С.Л. Франком [Плотников 1996]. Шмелев, и это можно утверждать наверняка, никогда даже не открывал работ Хайдеггера, и само имя немецкого мыслителя оставалось за пределами его «бытия», человеческого и творческого (что подтверждает, в частности, и интенсивная переписка с И.А. Ильиным). Но примечательно, что в виртуозной игре Шмелева со словом, когда он изобретает термины в репликах Поппера и заставляет последнего рассуждать об «онтологической Сущности», современные исследователи видят невольное схождение с «фундаментальной онтологией» и «феноменологией» Хайдеггера (ср. переводы его основного понятия *Dasein* – «бытие-сознание», «вот бытие», «присутствие»). Особенно важным маркером становится «таинственный шепот Бытия» в шмелевском пастише; современные исследователи философии Хайдеггера постулируют, что целью немецкого философа было «вслушаться в шепот бытия, создать категориальную сетку» [Муравьева 2019, с. 1085]. Думается, что сближение двух непересекающихся словообразов, русского литературного и немецкого философского, происходило на фоне катастрофического мироощущения, охватившего многих интеллектуалов после Первой мировой войны и русской революции. Для Шмелева 1920-е гг. были временем преодоления безысходного отчаяния и обретения смысла жизни как бытия в Боге²⁸.

В печальном и как будто таком безотрадном рассказе «Прогулка» много света. Это сами открывающие для себя богатства национального культурного наследия «хорошие русские интеллигенты», это сохранившиеся памятники отечества, деяния предков, природа... и не процитированные в рассказе, но живущие в памяти строки из послания Пушкина «К вельможе»:

Все изменилось. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотину Версаль и Трианон
И мрачным ужасом сменные забавы.
Преобразился мир при громах новой славы. <...>

Смотри: вокруг тебя
Всё новое кипит, бывшее истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились молодые поколения.
Жестоких опытов собирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
[Пушкин 1974, т. 2, с. 222]

После картин революционного террора – преобразование и финальное напутствие: «И вновь пуститься в путь».

Словно последовав этому завету, Шмелев четверть века спустя написал рассказ «Приятная прогулка» (1950), создав «собираТЕЛЬный образ русской усадьбы как средоточия национально-исторической памяти» [Шешунова 2021, с. 19]. Уже не конкретная, а вымышленная усадьба «выступает местом единения разных эпох и сословий, превращается в образ идеальной России, процветающей на почве тысячелетней истории» [Там же, с. 20]. Название, присвоенное Шмелевым этой «собираТЕЛЬной усадьбе», – Злая Сеча – кажется не столько обращенным в прошлое времен Чингисхана и Мамайя, сколько отражает память о недавней Второй мировой (Великой Отечественной) войне. Символ русской силы – могучий дуб – встроено Шмелевым в памятную литературную традицию (Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой...). С.В. Шешунова замечает, что действие рассказа происходит на Пасху, а в тексте настойчиво звучит мотив Успения: «Праздник Успения, как и Воскресение Христово, воплощает победу жизни над смертью – недаром его называют “летней Пасхой”. Давно погибшая в реальности усадебная Россия встает в рассказе Шмелева в силе и славе» [Там же]. Это – последнее произведение писателя.

В многосмысленном, богатом историко-культурными и историософскими контекстами рассказе «Прогулка» Шмелев, отправив героев в путь от церкви Успения на Могильцах, оставляет их на полустанке. Одинокие, растерянные и затерянные в этой огромной, мало им знакомой и внезапно ставшей такой чужой стране, они завершили прогулку. Это не гибель – это небытие: никогда больше «хорошая русская интеллигенция» не вернется на страницы шмелевской прозы. И только через два десятилетия прогулка из печальной станет радостной, а в последнем рассказе писателя возникнет еще один контекст – богословский, с мотивом малой Пасхи. Успение Пресвятой Богородицы – это окончание ее земного пути, означающее начало новой жизни. Смысл этого праздника раскрывается в словах Иоанна Златоуста (Творения): «Бог разрушает наше тело, намереваясь

создать его (вновь), и сперва изводит живущую в нем душу, как бы из какого дома, дабы, потом воздвигнув его в лучшем виде, опять ввести в него душу с большей славой. Будем же обращать внимание не на разрушение, а на будущую славу».

В середине 1920-х гг. в творчестве И.С. Шмелева – русского писателя-эмигранта – происходит поворот к служению великой цели: возрождение России в будущей славе.

¹ Недоброжелательный анонимный рецензент очерков «На скалах Валаама» счел «легкий язык» главной особенностью шмелевского нарратива [Шмелев 2023, с. 24]. В «Истории любовной» эта легкость пера («рассказ приятеля») пришлась как нельзя более кстати.

² Именно эту мысль выявила в рассказе Н.М. Солнцева, отсылая к известной, вызвавшей жаркие споры работе И.А. Ильина «О сопротивлении злу силою» (Берлин, 1925).

³ Рассказ «Прогулка» далее цитируется по [Шмелев 1998, т. 2, с. 89–98], с указанием в круглых скобках страницы.

⁴ Общественный Всероссийский комитет помощи голодающим (председатель Л.Б. Каменев, почетный председатель В.Г. Короленко) был создан в июле 1921 г., ликвидирован в августе 1921 г. по прямому указанию Ленина; в сентябре активные его члены были арестованы, от смертной казни их спасло вмешательство Ф. Нансена.

⁵ Дважды упоминает эту церковь в своих романах Л.Н. Толстой. Успенская церковь «на Могильцах» с двумя колокольнями становится свидетелем отчаянных мук Наташи Ростовской после знакомства в театре с Анатолем: «Погибла ли я для любви князя Андрея или нет?» (в «свой приход Успенья на Могильцах» к обедне приглашает остановившихся у нее в «старой Конюшенной» Ростовых Марья Дмитриевна Ахросимова). Та же церковь выбрана местом венчания счастливой пары – Левина и Кити Щербацкой.

⁶ В публикациях А.А. Кара-Мурзы приведенная цитата неизменно закреплена за Б.К. Зайцевым. Между тем мемуарный текст был опубликован дважды: П.*** Н.А. Бердяев (по личным воспоминаниям) // Вестник РХД. 1975. Кн. 115. С. 142–150; П*** Н.А. Бердяев (по личным воспоминаниям) // Н.А. Бердяев: Pro et contra: Антология. СПб., 1994. Кн. 1. С. 62–67. В обоих случаях публикация снабжена сноской «от редакции»: «Опубликовано в “Московском Сборнике”, самиздатском журнале, издающемся под редакцией Леонида Бородина». Инициал П<?> остается нераскрытым. Благодарим за разъяснения А.М. Любомудрова.

⁷ М.В. Сабашникова некоторое время работала в интернате для одаренных детей, организованном в усадьбе Большие Вязёмы, засвидетельствовав среди прочего: «Пища месяцами состояла только из чечевицы и червивой селедки; подавалась она частью в собачьих мисках, а частью – в тарелках северского фарфора из Голицынского дворца» [Сабашникова 1993, с. 170].

⁸ Идея отыскать прототипы персонажей рассказа в современниках Шмелева – представителей русской философии принадлежит Ю.У. Каскиной. Ряд историко-философских замечаний, на которые опирается наше исследование, сделан Н.И. Герасимовым. Приносим им свою искреннюю признательность.

⁹ Известно faux pas Н.А. Тэффи с одной такой «огородной» фамилией; urbi et orbi об этой оплошности поведала И.Г. Одоевцева в книге «На берегах Сены». Тэффи бездумно, не зная стихов Б.Л. Пастернака, процитировала скоморошину «Танцевала

рыба с раком, / А петрушка с пастернаком». Как и многие ее остроты, эта запомнилась навсегда. Шмелеву фамилия Пастернака отнюдь не была неизвестной. В 1921 г. художник Л.О. Пастернак выехал с семьей («на лечение», по ходатайству А.В. Луначарского) в Берлин; Борис Пастернак с молодой супругой Евгенией Лурье провел с родителями и сестрами в Берлине зиму 1922/23 г. Именно в эти месяцы в Берлине жил и И.С. Шмелев.

¹⁰ В журнале «Путь» (№ 4 за июнь – июль 1926 г.) Н.А. Бердяев опубликовал разгромную статью «Кошмар злого добра», направленную против книги Ильина.

¹¹ Гекатомба – в древнегреческой культуре торжественное жертвоприношение из ста быков (упоминается в разных произведениях античной литературы, например в «Илиаде»).

¹² Ср. название книги Ф. Ницше: «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего» («Jenseits von Gut und Böse», 1885–1886).

¹³ Г.П. Федотов выехал за границу позже других философов, только в 1925 г.; с 1926 г. он преподает в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже, публикуется прежде всего по вопросам древнерусской духовной культуры.

¹⁴ Отметим, что в эмиграции с 1923 по 1929 г. Л.И. Шестову не довелось опубликовать ни одной книги. Впрочем, издательство «Современные записки» одним из первых своих изданий выпустило именно книгу Шестова «На весах Иова: (Странствования по душам)» (Париж, 1929).

¹⁵ Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920) в годы учебы И.С. Шмелева в Московском университете преподавал в Киевском университете, вернулся в Москву в 1905 г. В 1918 г. был официальным оппонентом И.А. Ильина на защите его диссертации «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». В том же году покинул Москву, участвовал в ряде антибольшевистских проектов на белом Юге России, встречался с А.И. Деникиным, сотрудничал с ОСВАГОм. При эвакуации Добровольческой армии попал в Новороссийск, где в 1920 г. скончался от тифа. Несмотря на знакомство мыслителя с Ильиным и Деникиным, входившими в ближний круг общения Шмелева, маловероятно, что он послужил писателю в создании образов его философствующих персонажей.

¹⁶ Комментарий переписки Р. Бёрд, ссылаясь на слова Г.В. Адамовича, адресованные З.Н. Гиппиус в апреле 1927 г. («льшу себе надеждой на “переписку из двух углов”»), заверяет, что за несколько лет «маленькая и абсолютно случайная книжка создала новый, крайне актуальный жанр в русской литературе» [Иванов, Гершензон 2006, с. 90].

¹⁷ Отметим попутно: «собираТЕЛЬный» Вадя включает в себя и черты романтика Владимира Ленского с «кудрями черными до плеч»; не случайно именно этому герою «доверено» открыть собеседникам Пушкина.

¹⁸ Эти строки из «любимого» самим Чеховым рассказа «Студент» Шмелев процитирует в статье «Творчество А.П. Чехова», опубликованной посмертно (Русская мысль. 1952. № 445. С. 4–5; № 447. С. 4–5).

¹⁹ Ильинское – соседняя с Архангельским усадьба на Москве-реке в одноименном селе, входившем некогда во владения Романовых. Среди ее владельцев был граф А.И. Остерман-Толстой, в середине XIX в. строения усадьбы стали сдаваться под дачи, а в 1880-е гг. усадьба стала подмосковной резиденцией московского градоначальника великого князя Сергея Александровича. После 1917 г. была национализирована, превращена в санаторий; в Ильинском были выстроены дачи партийного руководства и правительственной элиты. В 1929 г. главное здание усадьбы сгорело.

²⁰ Уместно в связи с этой гигантоманией отметить свидетельство художницы М.В. Сабашниковой: «Маленький Троцкий предстал <...> подтянутым, с молодецкавой военной выправкой» [Сабашникова 1993, с. 179–180].

²¹ Издание было подготовлено коллективом авторов Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Автор предисловия – Н.С. Симонов.

²² Узурпировав дворец екатерининского вельможи, Троицкий кажется ужасающей карикатурой финального образа в пушкинском послании, где описывается сибаритская праздность римских патрициев:

Так, вихорь дел забыв для муз и неги праздной,
В тени порфирных бань и мраморных палат,
Вельможи римские встречали свой закат.
И к ним издалека то воин, то оратор,
То консул молодой, то сумрачный диктатор
Являлись день-другой...

[Пушкин 1974, т. 2, с. 223]

²³ Это был довольно популярный образ; к самым известным изображениям этой аллегии относится горельеф «Гений Славы, трубящий победу» скульптора И.И. Тербенёва на северном фасаде Адмиралтейства (Невский павильон).

²⁴ ВСЕРАБИС – Всероссийский союз работников искусств, был образован в мае 1919 г.; позволил улучшить среди прочего бытовые условия существования представителей разных видов искусства и просвещения.

²⁵ После двух реформ стоимость картошки приблизилась к уровню 1913 г., когда один килограмм стоил 5 копеек.

²⁶ Церковь Ильи Пророка в Ильинском была закрыта в 1937 г., снова стала действующей в 1991 г.

²⁷ Двадцать лет спустя Шмелев признается: «Никогда я не заводил записных книжек: не было терпенья-воли записывать. Думалось, – удержит память, чему надо удержаться. Теперь жалею: много пропало слов и мелочей. В этом рассказе какие-то “слова” уплыли – лиц, пожалуй, “исторических”» (Архив ДРЗ. Ф. 41. Оп. 3. Д. 163. Л. 1). В рассказе «Врешь, есть Бог...» засвидетельствован один такой разговор с современником в Москве накануне отъезда: «Рассказывал мне Вересаев, автор “Записок врача”, в Москве, летом 22 года. Рассказывал со слов шурина, Смидовича, видного большевика. Смидович только что был у Троицкого, в Ильинском, бывлой резиденции вел. кн. Сергея Александровича. По Вересаеву, шурин возмущался происшедшим: “черт знает... престиж роняют, дурачье!” <...> Не помню точных слов Вересаева, а он делал “примечания”» (Там же).

²⁸ Это удивительное и невольное сближение русского писателя и немецкого философа, вслушивающихся в «шепот бытия», было подмечено Н.И. Герасимовым и высказано им на конференции «Иван Сергеевич Шмелев: Литературное наследие, личность, эпоха. К 150-летию со дня рождения писателя» (3–4 октября 2023 г., Москва, Дом русского зарубежья) в совместном с Ю.У. Каскиной докладе «Сатирическое изображение философствующей интеллигенции в рассказе И.С. Шмелева “Прогулка” (1927)».

ЛИТЕРАТУРА

Авдеева 2009 – *Авдеева О.Ю.* «Лучшие на свете книги написаны большими сердцами...» // Осоргин М.А. *Времена. Автобиографическое повествование. Рассказы.* Пермь: Книжная площадь, 2009. С. 5–35.

- Анненков 2019 – *Анненков Ю.П.* Дневник моих встреч: Цикл трагедий. М.: Книжный клуб. 36,6, 2019.
- Бёрд 2006 – *Бёрд Р.* Послесловие. «Переписка из двух углов» как текст и действие // Иванов Вяч., Гершензон М. Переписка из двух углов / подгот. текста, примеч., ист.-лит. коммент. и исслед. Роберта Бёрда. М.: Водолей Publishers; Прогресс-Плеяда, 2006. С. 172–199.
- Бердяев 1925 – *Бердяев Н.А.* В защиту христианской свободы: Письмо в редакцию // *Современные записки.* 1925. № 24. С. 285–303.
- Бердяев 1991 – *Бердяев Н.А.* Самопознание (Опыт философской автобиографии). М.: Книга, 1991.
- Вадимов 1993 – *Вадимов А.З.* Жизнь Бердяева: Россия. Oakland (CA): Berkeley Slavic Specialties, 1993. (Modern Russian literature and culture; Vol. 29).
- Вехи 1909 — Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции Н.А. Бердяева и др. 2-е изд. М.: Тип. Саблина, 1909.
- Вишняк 1957 – *Вишняк М.В.* «Современные записки». Воспоминания редактора. Bloomington (IN): Indiana University Press, 1957.
- Герцык 1973 – *Герцык Е.* Воспоминания. Н. Бердяев, В. Иванов, Л. Шестов, М. Волошин, С. Булгаков, А. Герцык. Paris: YMCA-Press, 1973.
- Дунаев 2001 – *Дунаев М.М.* Духовный путь И. Шмелева // *Венок Шмелеву* / ред.-сост. Л.А. Спиридонова, О.Н. Шотова. М.: [б. и.], 2001. С. 136–153.
- Есенин 1966, т. 2 – *Есенин С.А.* Собрание сочинений: в 5 т. М.: Худож. лит., 1966. Т. 2.
- Зайцев 1988 – *Зайцев Б.* Мои современники / сост. Н.Б. Зайцева-Соллогуб. London: Overseas Publications Interchange Ltd & Queen Anne's Gardens, 1988.
- Иванов, Гершензон 1921 – Вячеслав Иванов и М.О. Гершензон. Переписка из двух углов. Пг.: Алконост, 1921.
- Иванов, Гершензон 2006 – *Иванов Вяч., Гершензон М.* Переписка из двух углов / подгот. текста, примеч., ист.-лит. коммент., и исслед. Роберта Бёрда. М.: Водолей Publishers; Прогресс-Плеяда, 2006.
- Ильин 1926 – *Ильин И.А.* Кошмар Н.А. Бердяева. Необходимая оборона // *Возрождение.* 1926. 29 октября. № 514. С. 2–3.
- Ильин 2000, т. 1 – *Ильин И.А.* Переписка двух Иванов: [в 3 т.] / сост., вступ. ст. и коммент. Ю.Т. Лисицы. М.: Русская книга, 2000. [Т. 1]: 1927–1934. (Ильин И.А. Собрание сочинений; [т. 3]).
- Ильин 2000, т. 2 – *Ильин И.А.* Переписка двух Иванов: [в 3 т.] / сост., вступ. ст. и коммент. Ю.Т. Лисицы. М.: Русская книга, 2000. [Т. 2]: 1935–1946. (Ильин И.А. Собрание сочинений; [т. 4]).
- Кара-Мурза 2014 – *Кара-Мурза А.А.* Бердяевская Москва (Опыт философского краеведения) // *Философские науки.* 2014. № 4. С. 65–77.

- Карташев 2023 – *Карташев А.В.* Религиозный путь И.С. Шмелева // И.С. Шмелев: Pro et contra: Антология / сост., вступ. ст., коммент. А.М. Любомудрова. СПб.: Изд-во РХГА, 2023. Т. 1. С. 617–630.
- Каскина, Герасимов 2024 – *Каскина Ю.У., Герасимов Н.И.* Статья Ю. Шамурина об усадьбе Архангельское в рассказе И.С. Шмелева «Прогулка» (1927) // Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. 2024. № 1. С. 186–192.
- Куприн 1957, т. 3 – *Куприн А.И.* Собрание сочинений: в 6 т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 3.
- Муравьева 2019 – *Муравьева Н.А.* Экзистенциальная стратегия понимания человеческого бытия // Гуманитарные науки в современном вузе: вчера, сегодня, завтра: Материалы международной научной конференции / под ред. С.И. Бугашева, А.С. Минина. СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т промышленных технологий и дизайна, 2019. С. 1083–1089.
- Муратов 1923 – *Муратов П.П.* Открытия древнего русского искусства // Современные записки. 1923. Т. 14. С. 197–218.
- Огарев 1956, т. 1 – *Огарев Н.П.* Избранные произведения. М.: ГИХЛ, 1956. Т. 1.
- Осоргин 1932 – *Осоргин М.А.* Как нас уехали (Юбилейное) // Последние новости. 1932. 28 августа. № 4146. С. 3.
- Осоргин 1992 – *Осоргин М.А.* Воспоминания. Повесть о сестре / сост., вступ. ст. и примеч. О.Г. Ласунского. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1992.
- Осоргин 1999, т. 1 – *Осоргин М.А.* Собрание сочинений / сост., предисл., коммент., вступ. ст. О.Ю. Авдеевой. М.: Моск. рабочий; НПК «Интелвак», 1999. Т. 1.
- Осоргин 2009 – *Осоргин М.А.* Времена. Автобиографическое повествование. Рассказы. Пермь: Книжная площадь, 2009.
- Плотников 1996 – *Плотников Н.С.* Хайдеггер и философия русского зарубежья // Энциклопедия русской философии / под ред. А. Алешина. М.: Наука, 1996. С. 570–571.
- Пушкин 1974, т. 2 – *Пушкин А.С.* Собрание сочинений: в 10 т. М.: Худож. лит., 1974. Т. 2.
- Сабашникова 1993 – *Сабашникова М.В.* Зеленая Змея. История одной жизни / пер. с нем. М.Н. Жемчужниковой. М.: Энигма, 1993.
- Синеокая 2016 – *Синеокая Ю.В.* Спор о вере, культуре и смысле жизни («Переписка из двух углов» Вячеслава Иванова и Михаила Гершензона) // Философский журнал. 2016. Т. 9, № 1. С. 61–79.
- Современные записки 2012 – «Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции / под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Т. 2.
- Солнцева 2007 – *Солнцева Н.М.* Иван Шмелев. Жизнь и творчество: Жизнеописание. М.: Эллис Лак, 2007.

- Сорокина 2000 – *Сорокина О.Н.* Москвиана: Жизнь и творчество Ивана Шмелева. М.: Моск. рабочий, 2000.
- Спиридонова 2014 – *Спиридонова Л.А.* Художественный мир И.С. Шмелева. М.: ИМЛИ РАН, 2014.
- Степун 1925 – *Степун Ф.А.* По поводу «Письма» Н.А. Бердяева // *Современные записки.* 1925. № 24. С. 304–320.
- Степун 1956, т. 2 – *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. Т. 2.
- Троцкий 1991 – *Троцкий Л.* Моя жизнь: Опыт автобиографии. М.: Панорама, 1991.
- Чехов 1985, т. 8 – *Чехов А.П.* Собрание сочинений: в 12 т. М.: Правда, 1985. Т. 8.
- Шамурин 1914, кн. 1 – *Шамурин Ю.* Подмосковные. М.: Изд. Т-ва «Образование», 1914. Кн. 1.
- Шешунова 2021 – *Шешунова С.В.* Две «Прогулки» И.С. Шмелева // *И.С. Шмелев и писатели русского зарубежья. XXV Крымские международные чтения / ред. Л.С. Анисимова.* Симферополь: ООО «Антиква», 2021. С. 16–21.
- Шмелев 1927 – *Шмелев И.С.* Прогулка // *Возрождение.* 1927. 25 августа. № 814. С. 3–4.
- Шмелев 1928 – *Шмелев И.С.* Прогулка // *Свет разума.* Париж: Таир, 1928. С. 79–94.
- Шмелев 1998, т. 2 – *Шмелев И.С.* Собрание сочинений: в 5 т. / сост., предисл. Е.А. Осьминой. М.: Русская книга, 1998. Т. 2.
- Шмелев 2023 – *И.С. Шмелев: Pro et contra: Антология / сост., вступ. ст., коммент. А.М. Любомудрова.* СПб.: Изд-во РХГА, 2023. Т. 1.
- Шмелев и Деникин 2023 – *Иван Шмелев и Антон Деникин: письма, избранная проза / сост. Т.В. Марченко.* М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2023.